

СТАНИСЛАВ КОЗЛОВ

В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ

ЧАСТЬ 2. ВОЙНА И ДЕТСТВО

Станислав Козлов

**В логове зверя. Часть
2. Война и детство**

«Издательские решения»

Козлов С.

В логове зверя. Часть 2. Война и детство / С. Козлов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836410-5

«Логовом зверя» во время Великой Отечественной войны называли Германию. Начинался путь к ней для семьи офицера Красной армии в городе Дзержинске. Простирались через Сталинградские степи, города и сёла России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Забавами и игрушками младшего члена семьи, как и его спутников-сверстников, были неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты... Зато они умели на слух определять немецкие, советские и американские самолёты.

ISBN 978-5-44-836410-5

© Козлов С.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	29
Глава 4	34
Глава 5	42
Глава 6	48
Глава 7	60
Глава 8	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

В логове зверя
Часть 2. Война и детство
Станислав Козлов

© Станислав Козлов, 2017

ISBN 978-5-4483-6410-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Пинки по снарядам

*Первые впечатления от жизни. Дорожка из книг. Классики под пятой.
Лица в бомбоубежище. Финка в подарок.
Разряженные боеприпасы. Пороховые фейерверки. Случайно не застрелил.
Эшелон, как таковой. Теплушка с буржуйкой. Начало движения.
Печные трубы без домов. Товарняк – дом родной. Паритзаны и мины.
Взорванный обед.*

Серое пространство вверху. Я ещё не знал, что это – небо. Качающиеся на его фоне высоко вверху мохнатые метёлки на длинных стволах: я ещё не знал, что это – верхушки сосен. Ритмичные приятные звуки – я ещё не знал, что это – песня, но мелодию её автоматически запомнил на всю жизнь... Самые первые воспоминания раннего детства. Позднее родителям с моих слов удалось определить о чём они: верхушки сосен на фоне неба я мог видеть только в парке города Дзержинска во время прогулки в комфортабельной коляске, токаемой старшим братом Юрой. И звуки музыки ублажали мой слух там же – по радио часто передавали популярную в те времена песню «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки». Можно делать вывод: музыкальный слух – дело врождённое настолько же, насколько и память. А песня нравится до сих пор – очень уж лихая мелодия.

Следующее «яркое» событие, запечатлённое памятью, – банка с чем-то на вид очень симпатичным. Её демонстрируют мне, орущему диким голосом в своей кроватке и поставившему на грань отчаяния брата своего. Ор объяснялся тем, что я счёл себя одиноким, навеки покинутым любимой мамой, любимым папой и всем прочим человечеством, куда-то исчезнувшим, надо полагать, навеки. Брата тоже было жалко – обоих нас покинули. Банку же мне показывали вернувшиеся родители и дядя, отчаявшиеся утихомирить меня каким-либо другим способом. В банке лежали кусочки сливочного масла. Их созерцание почему-то действовало умиротворяюще. Возможно потому, что банка с ними жизнерадостно блестела рядом с улыбающимися лицами близких людей, наконец-то вернувшихся и представших перед моими зарёванными глазами и щеками.

Ни погремушки, ни побрякушки и никакие иные предметы детских развлечений не запомнились совершенно. Зато ясно вижу перед собой и под собой узкую, но приятную дорожку, по которой я хожу из одной комнатки в другую. Комнаток две плюс кухня, кладовка, коридорчик и «все удобства». Освоив один маршрут, я перекладываю дорожку в ином порядке и в другом направлении, снова хожу по ней. Дорожка сложена из... книг. Я их беру беспрепятственно с полок и использую, как строительный материал. Книги мамы: она – преподаватель русского языка и литературы. Мама мудро поощряла мои, казалось бы кошунственные, занятия с книгами – ещё не умея читать, сын таким образом приобщался к литературе. А она была классической: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь... Всё это богатство классики аккуратно укладывалось на пол книга к книге вплотную одна к другой и с удовольствием попиралось ногами – я ходил по ним, стараясь не наступать на доски пола. Разумеется, т а к а я дорога и т а к о й путь могли привести только к хорошему результату...

Вероятно, и идею соорудить дорожку, и использовать для её строительства книги я придумал сам в силу, неведомых теперь, ассоциаций. Не родители же, оба учителя, подсказали мне её – книги, всё-таки, а не какая-нибудь там фанера. Но вот почему додумался до такого?.. Быть может потому, что жили мы на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Пол был зимой холодным, я случайно встал босиком на ненароком упавшую книгу, заметил, что на ней теплее

стоять и сделал вывод – следовательно, и ходить тоже теплее. Наверное, привлекали и красивые обложки. Обращался я с книгами аккуратно и бережно, не повредив ни одного листочка – здесь уже заслуга маминых внушений.

Некоторые из моего любимого «строительного материала» – книг до сих пор стоят на полке моей домашней библиотеки. Все – академические издания. Особенно хорош Гоголь с иллюстрациями Агина... Но и Пушкина полное собрание сочинаний в одном томе прекрасно.

Увидеть их вновь, со счастливой поры младенчества, довелось только спустя восемь лет, вернувшись из Германии уже значительно повзрослевшим и обладающим солидным жизненным опытом одиннадцатилетнего мальчишки... А между книгами и отъездом из родного города был тревожный полумрак земляной щели бомбоубежища. Тускло – оранжевый свет свечи выделял на чёрном фоне напряжённые лица соседей. Казалось, эти лица живут отдельно от тел... Или вовсе без тел... Одни только лица. Их губы шевелятся, но что они говорят не разобрать: сверху давит, всё заглушая, угрюмое завывание самолётов, иногда переходящее в ушираздирающий и сотрясающий земляные стены рёв. Пламя свечи в страхе мечется, тени на лицах двигаются, меняя их выражения самым неестественным образом... Возле них, безглазых от ужаса, появляются руки, зажимающие уши ладонями...

Покидая Дзержинск, родители взяли с собой минимум самых необходимых вещей – одежду, главным образом, и ватное одеяло... Последнему предмету впоследствии предоставлялась по ночам главная роль. За время походов, согревая нас по мере способностей своих, одеяло даже похудело. Довольно пышное в начале, оно постепенно сплюсилось, значительно утратив свои теплоизоляционные свойства, но зато стало занимать гораздо меньше места при транспортировке...

Естественно, ни о каких игрушках и речи не могло быть, как и самих игрушек, в общепринятом смысле этого слова. Их и не было. Не могу сказать, что сильно переживал от этого и чувствовал себя обездоленным – к игрушкам просто не успел ещё и привыкнуть. Зато отлично запомнился подарок, сделанный мне уже в воинском эшелоне офицером – разведчиком: маленький, с красиво отделанной рукояткой и ножнами самый настоящий... финский нож. Воспринял я его, конечно, не как оружие, а как игрушку, не сознавая его опасности. Отполированное лезвие блестело зеркальным сиянием, рукоятка переливалась всеми цветами радуги. Я с гордостью носил всю эту красоту на своём поясочке... пока не пришёл отец. Увидев «младенческую забаву», он тотчас же лишил меня её, а заодно и удовольствия обладать ею. Потерю я пережил очень болезненно. Разозлился на отца страшно – даже напал на него с кулаками. Мама пробовала за меня заступиться – надо же, мол, мальчишке чем-то играть. Отец остался непреклонен и ножика этого я больше не видел. Досталось и дарителю, чтоб знал впредь: что можно и что нельзя дарить младенцам... Безусловно – отец был прав. В своём трёхлетнем возрасте я вполне мог очень серьёзно поранить и себя, и увечье причинить кому-нибудь другому, попавшемуся в удобный момент под мою вооружённую руку... Мог ли он знать: какими «игрушками» станет забавляться наша прифронтовая мальчишеская компания.

Эшелон, составленный из кое-как оборудованных для перевозки людей товарных вагонов, останавливался порой где попало – не обязательно на станциях. Стоял, бывало, подолгу и мы с мамой оправлялись на прогулку вдоль железнодорожных путей или в сторону от них, но не на слишком большое расстояние: команда «по вагонам» могла раздаться в любой момент.

На путях, возле них, под ними и везде, куда достигал глаз, валялось множество блестящих и красивых предметов, очень интересных и соблазнительных для мальчишеского разума: снаряды различных калибров и предназначений, патроны столь же разнообразного «ассортимента», гильзы, части военной техники и оружия, само оружие, мины... Патроны «сами собой» оказывались в карманах, а снаряды, слишком тяжёлые и большие для того, чтобы их куда-нибудь засунуть, мы, пацаны, катали по земле ногами или пытались... разрядить. Не только из любопытства посмотреть, что там внутри, но и позабавиться другим способом. Разрядить

артиллерийский снаряд – дело пустяковое. И совершенно безопасное. Если знать «уязвимые» места снаряда и не трогать опасные...

Родители занимались скучными взрослыми делами, а мы, трое «разведчиков», на время предоставленные сами себе, шныряли по окрестностям вставшего в очередной раз эшелона. Я – самый младший. Моим товарищам уже лет по восемь – девять. Это Симка Данович и Митька Степанов. Два контраста. Симка с прилизанными, будто вечно водой смоченными волосами приблизительно рыжего цвета, Митька жёсткими чёрными волосами, будто взорванными и поэтому всегда торчавшими дыбом.

– Вон, смотри – ка, целый ящик снарядов, – ткнул пальцем под разбитый вагон Митька.

– Ага, – взглянув в направлении указующего перста, подтвердил Симка. – Давайте возьмём.

– А успеем? – усомнился Митька, – Вдруг поезд тронется.

– Ну не успеем, ну и что? А что делать ещё?

– Да ничего и нечего... Давайте возьмём.

Весь ящик из под вагона решили не вытаскивать – тяжело, да и ни к чему весь-то – одного снаряда хватит. Через минуту небольших стараний становимся обладателями почти золотого на вид сокровища – сверкающего 76-ти миллиметрового снаряда от противотанковой пушки. Как раз то, что надо.

– Ну-ка, Стаська, найди какой –нибудь что-нибудь вроде штыка или другую острую железяку, – распорядился наш самый авторитетный сапёр Семён.

Я, по – младшинству, не возражаю. Сыскать что-нибудь острое и стальное в окружении сплошной стали не долго. Другой кусок железа, заменяющий молоток, был уже в руках Симки... У снарядов, это ж всем пацанам известно, имеется лишь две части, по которым ни в коем случае нельзя стучать, если не иметь желания быть немедленно разорванным на мелкие кусочки: капсюль с одной стороны и головка снаряда – с другой. Собственно, даже не вся головка, а лишь её наконечник. По всем иным частям можно вполне безопасно колотить – лупить, умеренно, пинать – что хочешь с ними можно делать: ведь везут же их на машинах по ухабам, таскают в ящиках, и ничего с ними не делается – не взрываются.

Семён наставил острие заржавленного обломка принесённого мной плоского немецкого штыка в место соединения головки снаряда с гильзой. Щели там никакой нет, но металл довольно мягкий и если несколько раз ударить по острию, то оно постепенно входит в него, сначала образуя щелку, а потом расширяя её. Передвигаясь по диаметру снаряда, острие постепенно освобождает головку от стискивающей её оболочки снаряда и, таким образом, помогает обезглавить его... Терпеливо постукивая, Симка настойчиво делает своё дело... Стоим рядом, наблюдаем.

Мы видели как устраивают «фейерверки» молодые офицеры, сами ещё недавние пацаны по возрасту. Артиллерийский порох напоминает макароны: он такой же длинный и полый внутри, только коричневого или чёрного цвета. И мы уже знали «пиротехнические» свойства его: он горит изнутри. И даже знали для чего – чтобы горящая поверхность макаронины, сгорая, не уменьшалась, а увеличивалась. Это же просто здорово: чем дольше горит – тем сильнее огонь... А заряжались ещё снаряды порохом зернистым – такими маленькими цилиндриками ярко-жёлтого цвета. Он полыхал, рассыпая вокруг себя искры, как маленький салют. Если «макаронину» заткнуть с одной стороны чем-нибудь негорючим, а с другой стороны поджечь, то она становится «ракетой» и носится по земле, и над землёй, самым невероятным, причудливым и непредсказуемым образом. Но можно было, при определённых навыках, поведением горящего пороха и управлять...

Делалось это так: сооружается нехитрая направляющая установка из подручного материала – из досок или каких-нибудь обломков. Внутри её ставится гильза с длинными «макаронами», в верхнюю часть которых втыкается какая-нибудь затычка. На неё водружается гильза

поменьше – с зернистым порохом. Ещё нужно три-четыре доски. Их – в землю вплотную к снарядам, чтобы верхняя гильза не соскочила с нижней. При помощи бикфордового (огнепроводящего) шнура поджигается снизу порох в нижней гильзе и порох в верхней. «Макаронины» стремятся взлететь, толкая над собой верхнюю гильзу... Зрелище, особенно ночью, – очень эффектно: в струях огня подпрыгивает блестящая гильза, извергая из себя фонтан пылающих искр, снизу струи пламени... Мечта!

Вот, наконец, металл по всей окружности снаряда от его головки отогнут. Однако сразу её не вынуть. Она ещё крепко сидит. Чтобы ослабить зажим, надо головку расшатать. Гильзу держат накрепко руками ассистенты, мастер рывками дёргает головку туда-сюда... Всё. Операция окончена. Теперь с головкой можно делать что угодно: можно, например, в костёр положить и посмотреть как она рванёт... Но семидесятишестимиллиметровый снаряд – предмет слишком серьёзный, мы это уже знаем. Да и до вагонов рукой подать. Опасную штуковину – в сторону. Займёмся «макаронами». Вот они уже в руках, гладкие и блестящие. Сейчас найдём головешку в ближайшем костре и устроим небольшой салют... «По ваго-онам! По ваго-онам!» – раздаётся знакомый призыв. Фейерверк откладывается до следующей стоянки... «Макаронны» рассованы по карманам. Разбегаемся по своим «домам» на колёсах..

Молодые офицеры видели потом в боях и не такие взрывы и смертельные фейерверки, а для нас все эти пиротехнические эффекты были только забавой... Правда, тоже не всегда безобидной. Общаясь только с военными, видя вокруг себя следы войны, играя предметами, предназначенными для войны и смерти, и зная об этом, имея представление о бомбёжках на собственном детском опыте, мы выросли очень рано. Взрослея, находили себе «забавы» посерьёзнее, чем поджигание пороха...

Пистолет ТТ – предмет чёрный и серьёзный. Игрушкой считать его нельзя ни в коем случае. Носил отец его, как и положено офицеру, всегда при себе. Разбирал и чистил часто в моём присутствии – так уж получалось само собой: если отец собрался чистить своё оружие, то я немедленно возникал рядом. К отцовскому ТТ я относился с большим почтением и уважением – это была как бы неотъемлемая часть моего воинственного родителя. Чистка пистолета казалась неким священнодействием, достойным самого пристального внимания. Как результат, я знал все его детали, процессы сборки и разборки, заряжания и стрельбы. Только что сам не стрелял: отец не доверял, да и отдача при выстреле для детских рук чрезмерно сильна. Но, повторяю, знал о пистолете почти всё то, что знал его владелец, а уж пострелять из него стало мечтой первой необходимости...

И вот случай, по моему мнению, представился. Однажды родители куда-то ушли, оставив меня в квартире вдвоём с хозяйской дочкой, девчонкой тоже не очень взрослой, но постарше меня. Переиграв во все известные игры, мы заскучали. В какой-то момент я, видимо, почувствовал себя кавалером, обязанным развлечь даму каким угодно способом. Способ нашёлся быстро. «Кстати» вспомнилось: отец оставил на этот раз свой пистолет дома. Где он находится я, конечно, знал. «Дама» пыталась меня отговорить от затеи, но этим только ещё больше вдохновила меня на подвиг. Не из благоразумия отговаривала – побаивалась, припоминая, как поколотила меня несколько раз без всякого повода с моей стороны. Я же о мести не помышлял. Просто хотел похвастаться.

И вот. Пистолет извлечён из кобуры и на свет керосиновой лампы. Я демонстрирую девчонке своё умение им пользоваться – целюсь в воображаемого врага навскидку и с полусогнутой руки, а затем передёргиваю, как и положено, ствол, загоняя в него патрон... Тут ещё, кстати или не кстати, вспомнилось, что «дама» моя иногда пользовалась своим превосходством в возрасте и, соответственно, силе... Вспомнив, решил поугадать, чтобы впредь не повадно было. Шутя, но грозно, направляю оружие на неё, прищуриваю для устрашения левый глаз... Девчонка заворожённо уставилась на пистолет испуганными глазами, ставшими вдруг огромными, потом вспрыгнула на печку, сжалась там в комочек, подтянув ноги к подбородку: «Не надо

стрелять, не надо», – забормотала почти сквозь слёзы сдавленным голосом. Её страх подстегнул меня ещё больше. Палец лёг на спусковой крючок и я нажал на него, не имея, впрочем, серьёзного злого умысла... Сухой металлический щелчок. Девчонка вздрогнула всем телом... Выстрела не последовало. Осечка. Передёргиваю ствол назад ещё раз. Следующий патрон в ствол не вошёл... Наверное потому, что не выскочил из ствола первый. Оторопь и предположение неминуемого справедливого возмездия напрочь отбили дальнейшее стремление к каким бы то ни было подвигам: испортил чем-то папино оружие и теперь мне здорово попадёт. О том, что было бы, если бы я смог выстрелить, просто не подумалось. И ведь попало прозорливцу... Отец с тех пор никогда не оставлял меня наедине с пистолетом. Со своим пистолетом. Другого оружия, разных систем и предназначений, у меня впоследствии имелось множество.

А надёжнейший пистолет ТТ, как после следствия и вразумления объяснил отец, дал осечку по очень простой причине: моих силёнок не хватило правильно его зарядить и перезарядить: не до конца отвёл ствол – патрон перекосило при заходе в канал ствола – только и всего. Эта случайность, возможно, дочь хозяйскую спасла от преждевременной гибели, отца – от суда за небрежное хранение оружия и косвенную вину в убиении невинного гражданского лица, а меня – от вечных угрызений совести.

Много лет спустя, сидя с суровым лицом на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, я невольно вспоминал различные эпизоды наших, «несовершеннолетних», игр военных лет... Вот инспектор милиции даёт нагоняй понурым пацанам за то, что они, (о, ужас!) стреляли из пневматического пистолета на каком-то пустыре по пустым бутылкам. Совершившим сей ужасный проступок долго внушается вся пагубность и неправомерность их опасных для них самих и окружающего мира действий... Что бы сказал, этот праведный инспектор, если бы узнал, что вытворял в своё время присутствующий здесь в моём официальном лице почтенный председатель депутатской комиссии... Правда, в те суровые времена игры детей с настоящим оружием были делом обычным и «вытворением» не считались. И сейчас у меня не нашлось слов осуждения для тех, кого по таким пустякам представили пред очами милиции, администрации, депутатов... Я лишь усмехался мысленно и молчал: что там пневматические пистолеты. Мы их называли воздушными и не считали оружием – пукалки. А ребятишкам, будущим воинам, уметь обращаться с оружием отнюдь не лишне: продают же в магазинах игрушечные пистолеты и автоматы, внешне от настоящих почти не отличимые. Провинившиеся пацаны традиционно покивали повинными головами: больше, мол, никогда не будем – поняли и осознали.

Я невольно хмыкнул, вообразив себя на их месте, но немедленно соорудил на лице соответствующую случаю суровость – на меня недоумённо посмотрели коллеги по комиссии: чего смешного нашёл уважаемый Станислав Николаевич.

За годы путешествий за фронтом слово эшелон стало для нашей семьи и всех других, едущих в нём, почти таким же родным, как слово дом. Менялись города, сёла, деревни, квартиры, приходили и уходили времена года, дожди превращались в солнечные дни, холод в тепло, положение на фронтах становилось то лучше, то хуже, – эшелон оставался некой величиной постоянной. В неё мы всегда возвращались, в неё всегда погружались и в ней периодически ездили. В буквальном смысле величина эшелона была большой. Состояла она нередко из десятков вагонов. Для того, чтобы сдвинуть машину такую с места, а потом передвигать по железной дороге, к ней пристёгивали по два паровоза: один впереди состава, другой – сзади. Один тянул, другой толкал. Иногда впрягали цугом. Отдуваясь и отпыхиваясь, как живые, чёрные трудяги изрыгали из себя густые облака дыма и пара, таща по рельсам главным образом товарняк, набитый живыми людьми и военной техникой. Впервые после отъезда из Дзержинска мне

довелось войти в пассажирский вагон только уже после войны. Первое впечатление от него можно назвать неадекватным: он мне показался слишком... тесным и неудобным для длительного, и комфортабельного, обитания в нём.

Совсем другое дело – вагон просторный товарный: никаких перегородок, купе и узких коридоров. Для перевозки людей в комфорте и уюте его обустраивали так: справа и слева от двери настилались двухъярусные нары от стены до стены длиной, и в средний рост человеческий, от головы до пят, шириной. Посреди вагона оставалось свободное пространство для передвижения, общения и печки-«буржуйки». Труба её, составленная из отдельных отрезков металлических труб, выводилась в одно из окон, изгибалась под прямым углом кверху и поднималась на некоторую высоту над крышей. Освещался вагон в дневное время через маленькие окна, по два с каждой стороны под крышей, и дверь, летом, а ночью – керосиновым фонарём или лампой, керосиновой же, разумеется, свечками или «плошками» – так назывались немецкие окопные светильники. Они были похожи на хоккейную шайбу, сделанную из пропитанного чем-то негорючим картона. Внутри него заливали горючую смесь: то ли эрзац – парафин, то ли эрзац – стеарин. Посреди этого эрзаца находилось керамическое гнездо для короткого фитиля. Когда его зажигали появлялось эрзац пламя, дававшее некое подобие света. Возле печки – скамеечки, лавочки, табуретки, обрезки брёвен и прочие самодельные приспособления для сиденья в тесном кругу.

В холодные времена года печка – в центре не только вагона, но и внимания. Здесь – огонь, тепло, свет и задушевные разговоры, рассказы о судьбе, о войне, неперемненные анекдоты. И курение. Махорочный дым составлял значительную часть вагонной атмосферы и живописный туман. Частично его вытягивало в окна, если они были открыты, и в дверь – при том же условии. Летом двери чаще всего распахивались на всю ширину. Обитатели вагона или сидели на его полу, свесив ноги наружу, или стояли, опершись о доску, приколоченную гвоздями поперёк дверного проёма на уровне груди для опоры и предотвращения случайного выпадения за пределы движущегося поезда.

Моя любимая позиция – возле окна. Поза – на животе, выставив голову наружу. Перед посадкой в вагон всегда прошу отца занять место на втором «этаже» и непременно рядом с окном. Резонные возражения, что из окна дует, и можно простудиться во внимание мной не принимались: зато интересно. Смотреть на пронсящиеся мимо пейзажи, дома, деревья, людей я готов был часами, не отрываясь, с неослабевающим любопытством и увлечением. Даже засыпая, приятно было сознавать возможность, открыв глаза, в любое время снова выглянуть в окошко: а вдруг как раз в этот момент за ним происходит что-нибудь самое удивительное и необычное – не пропустить бы...

Начало движения порождало в теле приятное ощущение, напоминающее, должно быть, ощущение полёта у птицы... Все предметы за окном начинали двигаться, оживая, и вступали между собой в какие-то сложные отношения, словно соревнуясь – кто быстрее за поездом поспешит, а кто отстанет. Больше отставали ближайšie к рельсам. Дальние же никак не желали уходить вспять и даже, по моим впечатлениям, пытались поезд обогнать. Уже только на одно это было увлекательно смотреть: придорожные столбы, дома и деревья уносились назад, а дальние двигались вперёд. Естественно появлялись вопросы: почему так происходит? Отец, радуясь моей любознательности, объяснял. Поведение окружающего мира становилось понятнее, теряло часть таинственности, но продолжало оставаться чрезвычайно занятным.

Громаду эшелона, составленную из множества вагонов с военным снаряжением и людьми, сдвинуть с места трудно бывало даже двум паровозам. Яростно изрыгая из своих утроб свистящие струи пара, они заставляли свои поршни и рычаги вращать колёса, те стремительно вертелись, изображая нечеловеческое рвение и буксуя на одном месте, и оставляя эшелон неподвижным... Плавно придать ему поступательное движение не получалось. И паровозы, отдышавшись и поднакопивши силёнок, брали разбег с рывка. Внутри вагона это ощу-

щалось так. Из далека – далека со стороны паровоза доносится дробный металлический звяк и лязг буферов, словно мечей и щитов. Железный звук нарастает и приближается. Пассажиры, с ужасом зная, что он означает, поспешно хватаются за что-нибудь прочное и стабильное, находящееся под рукой. Наконец, перестук достигает кульминации, приблизившись к вагону. Мощный рывок! Всё, что не закреплено, летит на пол. Туда же отправляются те, кто не успел себя зафиксировать или сделал это не достаточно надёжно. Уснувшие просыпаются, хотевшие спать избавляются от своего желания... Адские звуки истязаемого железа начинают удаляться в противоположную сторону. И наступает подобие счастливой тишины. В ней барахтаются жёсткие матюки и чертыхания поверженных или ушибленных, и мягкий стук колёс на стыках рельс. Поехали... Не отсюда ли возникло это знаменитое гагаринское «поехали»: он ведь тоже пережил фронтовое детство...

Признаюсь, даже для меня, блаженствующего при движении, его начало превращалось в испытание и приводило в смятение. Вероятно, после того, как я от толчка и ушедшего из под ног пола, однажды стукнулся о столб, подпирающий нары. Пострадал, конечно, я – столбу хоть бы хны. Металлическое лязганье и всё, за ним следующее, воспринималось как неизбежное, и неминуемое, зло.

Пока ехали по земле, ещё не тронутой войной, окрестности, в пределах видимости из вагонного окна, оставались мирными... Потом мимо эшелона уныло и мрачно потянулись обгорелые полуразрушенные станции, воронки от бомб и символы войны – печные трубы без каких бы то ни было признаков стен вокруг них. Будто эти русские печи так и стояли всегда сами по себе – без домов. Я так и воспринял их, впервые увидев. Детский разум не в силах был понять, что печь не может существовать без дома так же, как и дом без печи. Думалось: если она вот стоит, одинокая, – значит так надо... Только было загадочно: где же люди живут – те, которые печью пользуются, и зачем нужна она, если ей нечего греть?.. Взрослые объяснили: деревянный дом сгорел, каменная печка вместе с трубой уцелела, а люди... Кого фашисты убили, кто убежал от них, кто в партизаны ушёл – мстить, кто в земле себе жилище вырыл, землянку на подобие той, про которую в песне поётся. В неё печку русскую не затащить, а готовить в ней можно и на улице. Жутко... Но подобные картины появлялись всё чаще и чаще, и стали привычными до такой степени, что уже целые дома казались противоестественными. Теперь исчезали печки... Совместить их в единое, но невидимое, целое не удавалось. Исчезли страх и жуть. Возникла детская, но сильная ненависть к тем, кто сжигает жилища людей, желание наказать их за это.

Красные развалины Воронежа... Или какого-то другого города... Слова отца: «А какой красивый город был!» Я пытался вообразить эту исчезнувшую красоту – не получилось. Перед глазами проплывали хаотические нагромождения красного кирпича с торчащими из них согнутыми стальными балками – и больше ничего... Представить себе на месте красного, как содранное с живого тела мяса, крошева не только красивые, а просто целые, не разрушенные, дома неискущённому воображению мальчишки было не по силам.

Из окна вагона не было видно ни одного сохранившегося здания, когда проезжали Варшаву: скалы, горы, долины из битого кирпича – уходящие к горизонту россыпи колотых камней и обломков... И ни одного живого человека. Казалось: на этих безжизненных пространствах, покрытых прахом разбитых домов уже никогда не смогут жить люди и никогда не смогут восстановить разбитое и разрушенное.

Но виды разгромленных чужих городов будут потом. А сейчас эшелон шёл по своей российской земле. И я чувствовал себя в нём хорошо. Не потому, что было удобно в бытовом отношении: кровать, подушечка, постелька, столик, стулик... Ничего этого не имелось, конечно. В моём тогдашнем возрасте память о коротеньком прошлом почти отсутствует, а настоящее воспринимается так и таким, какое оно есть. Поэтому существующее в сегодняшний момент

жизни – и есть хорошее. И интересное. Всё, происходящее вокруг, затмевало все неудобства, да я их и не считал таковыми: всё познаётся в сравнении, а сравнить было не с чем и нечего было сравнивать, если я иного не помнил и не видел. Говорю только о себе: матушке моей, конечно, приходилось очень нелегко во всех отношениях. То, что я морально чувствовал себя хорошо везде, где нам пришлось побывать – дело её рук, заботы, терпения, внимания и тепла души её прекрасной.

Эшелонные колёса отстукивали километры, ночные и дневные ветры обдували его вагоны, с платформ с угрожающей бесстрастностью смотрели в небо чёрные зрочки пулемётов, готовых в любой момент палить по самолётам врага. Их налёты всё никак не совпадали с режимом движения нашего поезда, а мы, Симка, Митька и я, пользовались любым случаем повидаться. Случаи представлялись только на стоянках. Если они предполагались относительно долгими, нас отпускали погулять. Каждый из нас знал, в каких вагонах едут его приятели.

– Здрасьте! – кричал тот, кто успевал сойти на твердь земную первым, – Стаська дома?

– Дома! – кричал я со своего поста у окошка. – Сейчас слезу, погоди.

Иногда таким же образом узнавал местоположение своих приятелей и я. Спрыгивать с пола вагона на землю было высоковато, но всегда находился кто-нибудь из офицеров, кто брал под мышки и ставил на то, что оказывалось под ногами. Чаще всего это была щебёнка, приятно покрашенная в культурный белый цвет...

Стасик ещё не знал, что белая краска на щебёнке – признак района действия партизан, а не украшение. Вероятно, этого не знали и офицеры эшелона. Не давали никакого покоя немцам партизаны. Рушились взорванные мосты, валились под откос поезда со всем, что в них перевозилось, превращались в куски искорёженного металлолома паровозы, перевозимые подразделения воинских частей становились материалом для кладбищ... Мины срабатывали в назначенное время и в нужном месте. Не помогали ни патрули, ни контрольные пункты через каждый километр железнодорожного пути. Целые дивизии снимались с фронта для охраны магистральных путей, пунктуально и дотошно разрабатывались детальные инструкции для борьбы с диверсиями, но полновластными хозяевами положения на железных дорогах гитлеровцам себя почувствовать всё равно не удавалось.

Классическое место для подрыва живого тела поезда – под рельсами. Для мины устраивается уютное гнездо под стальной полосой: выгребается грунт, в ямку укладывается бережно, как новорождённый младенец, мина нужной мощности, ямка закапывается, над ней разравнивается поверхность придорожного участка, посыпается сверху сухой землицей, чтобы не выдавала место скрытия взрывчатки. Дело сделано. Мина, спокойно подрёмывая, ждёт своего поезда и часа. Патрули внимательно мозолят глаза, прощупывая ими каждый клочок земли возле рельсов и проходят мимо, убеждённые в абсолютно полной на этом участке безопасности для движения любых поездов. А они взрываются и летят под откос, вспахивая землю металлом и калеча живую силу.

Вот и придумали умные немецкие головы посыпать землю возле железнодорожного полотна мелкой щебёнкой, полив её сверху белой краской. Расчет прост: после закапывания мины камешки выдадут место её захоронения своим отличием от других участков – его можно будет увидеть издалека. Очень хорошая, с точки зрения немцев, идея была немедленно воплощена в жизнь. Теперь железная дорога даже выглядела красивее и аккуратнее. Авторы идеи получили награды и премии. Но поезда всё равно и безнадежно взрывались, и снова становились кучами обломков вдоль аккуратно покрашенных путей...

А всё потому, что на каждую хитрость всегда найдётся антихитрость. И если немцы отличаются, как принято думать, от всего остального человечества аккуратностью и дисциплинированностью, то русские – именно хитростью своей. И чем больше аккуратности – тем хуже

для неё. Там, где немцу хорошо – там русскому ещё лучше. Партизаны поступали очень просто: делали всё, как и прежде, с той только разницей, что выкопанную, после упрятывания мин лишнюю, землю уносили с собой в плащпалатках, а снятые аккуратно камешки бережно выкладывали на место покрашенной частью вверх... Поглядеть со стороны – никто на этом месте не только не был, но даже и не пролетал над ним. Но поезда взрывались...

На этот раз передо мной стояли оба моих спутника. У обоих были очень загадочные физиономии.

– Ну, пошли, – изрёк один из них – Симка, малец с торчащей из русых волос соломиной, добродушными ушами и хитрущими глазёнками.

– Шагой марш! – добавил Митька, приложив к поломанному козырьку кепки прямую дощечку ладони и изобразив воинственность. Лицо у него при этом выражало таинственность.

– Куда, – спросил я, заинтригованный загадочностью приятелей.

– Да тут, не далеко, – ответил Симка не слишком определённо.

Далеко быть и не могло, значит, где-то совсем уж рядышком находилось нечто интересное. Так оно и оказалось. Мои приятели ещё при подъезде к месту стоянки усмотрели из окна то, что каким-то образом просмотрел я: лежащий совершенно открыто ящик с какими-то то ли патронами для крупнокалиберного пулемёта, то ли малокалиберными снарядами от авиационной пушки. Надо было непременно это богатство рассмотреть поближе. За бугорком, украшенным совсем не живописными развалинами какого-то строения, на травке лежал ящик с заманчиво поблескивающими... неизвестно чем. Нет – известно-то было: боеприпасы. Так и не определил совет специалистов, в наших лицах, для чего. Ну, да не беда. Порох в виде артиллерийских «макарон» у нас уже имелся. Разряжать такую мелочь, как подобие патрон, не захотелось – не интересно для таких опытных пиротехников, каковыми мы являлись. Посоветовавшись коротко, решили посмотреть на самое интересное – как они взрываются. И костерок подходящий нашёлся рядом: кто-то разжёт его, да и ушёл неведомо куда, оставив гореть неизвестно зачем. Несколько патронов полетели в самую гущу огня, а мы втроём задрапировались за обломком стены, уткнувшись носами в щели – бойницы: и видно будет хорошо, и мы в безопасности.

По уже имевшемуся опыту знали: патроны будут сколько-то времени нагреваться и только уже потом рванут. Есть время праздно отдохнуть и поговорить о происшедшем в вагонах. Ничего особенного. Младший лейтенант Непийвода не удержался во время рывка паровозов и плюхнулся на печку. Та опрокинулась, а лейтенант порвал штаны. Хорошо, не горела... А у майора Воронцова, который с одним усом, второй позавчера в карты проиграл и сбрил, и другой ус вчера вечером выиграл – теперь вовсе без усов ходит, и никто его в таком виде не узнаёт. Из штабного вагона посыльный приходит и в дверь вагонную кричит: «Майор Воронцов на выход!» А майор перед ним стоит... Х —ха-ха... И за нашими спинами раздались голоса.

Вернулись те, кто разжёт костёр... И не с пустыми руками. На воткнутую в землю и укреплённую над костром жердину бережно повесили котелок... Так вот она зачем! А мы-то думали: для чего здесь палку воткнули? Люди явно собирались сварить себе еду и пообедать. Вон и фляжку достали... Развлекаясь рассказами о приключениях взрослых, мы отвлеклись от цели своего прихода. Первым опомнился Симка:

– Ребята! Да ведь там в костре...

Не успел договорить. В огне резко бабахнуло и свет померк над ним от взметнувшегося рваным столбом пепла, головёшек, камней и того, что осталось от содержимого котелка. Сам котелок, полегчав от взрыва и вращаясь, крутился в воздухе, болтая дужкой. Что-то просвистело и лязгнуло. Всё стихло и пространство сотрясилось возмущённым, от всего сердца, матом. Трое военных крыли неизвестно кого, кто просмотрел на месте костра лежащие в траве

патроны, и по чьей вине живи теперь голодным – пропала вся еда. Мы благоразумно и незаметно исчезли с поля боя... Но рвануло красиво.

Глава 2

Пуля в лоб

*Сам себя научил. Рискованная прогулка. Бандеровец. Расстрел.
Тайник – спаситель. Немецкий «новый порядок». Гомосеки против партизан.
Гитлер против Гитлера. Фюрер о России. Взаимоуничтожение.
Суворов.*

В этот небольшой белорусский городок наш эшелон доставил меня человеком в уже солидном, можно сказать, пяти с половиной летнем, возрасте. У человека имелась мечты. Среди них главная – научиться читать. Осуществить её казалось делом не таким уж и сложным, учитывая профессию мамы. Но это же обстоятельство и являлось некоторым тормозом делу. Мама-учитель разрабатывала методику обучения сына с учётом полного отсутствия необходимой литературы – ни букваря, ни детских книжек. В походной семейной библиотеке находилась лишь одна художественная книга компактного формата – «Война», Ильи Эренбурга, в сером переплёте.

Собственно, именно она и послужила причиной появления желания научиться читать. Страстного. Отнюдь не потому, разумеется, что я был в неуёмном восторге от самой этой книги. Я понятия не имел ни о её авторе, ни о содержании её, да и само название представлялось загадкой: войну, по моему твёрдому убеждению, можно только видеть, а описать невозможно. Всё дело заключалось лишь в том, что её читала мама. И как читала. Так читала, что не обращала в это время на меня никакого внимания... Вывод оказался прост, как ложка: значит, чтение книг – очень увлекательное занятие – гораздо более интересное, чем даже общение со мной! Иногда я имитировал чтение или играл в него: брал книгу в руки и листал её с чрезвычайно умным видом. Буквы стояли перед глазами ровными прямыми рядами, как солдаты в строю. И молчали так же, как при команде смирно.

По вечерам, когда отец возвращался с работы и мы все собирались за кухонным столом, он читал вслух газету. Называлась она – «Правда». Слово было коротким. Догадка была проста: состоит оно из букв: «пэ», «рэ», «а», «вэ», «дэ» и ещё одной «а». Первая, значит, «пэ»; вторая «а» и так далее... Сверил свои догадки с мнением родителей. Они запыряться не стали: да, сынок, правильно... Когда дома я оставался один, а такое случалось не редко, то развлекал себя поиском в заголовках газетных статей знакомых букв. Вот слово «вперёд»... В нём почти все буквы известны, по слову правда. Кроме «е» и «ё»... И их распознал – слово было знакомо. Занятие оказалось очень увлекательным. Довольно скоро я уже читал сам всё, напечатанное в газете – молча, «про себя». Но сомневался, правильно ли – ведь значения многих слов я просто не знал, читая их чисто механически: оккупанты, стратегия, блокада. Множество незнакомых слов появилось и каждое требовало разгадки – иначе текст оставался во многом непонятным... Хотя, вот, слово контрнаступление: длинно, сложно, но знакомо – это когда наша армия идёт навстречу атакующим врагам или они атакуют наступающую нашу... Но что такое «а...н...н... екс... ирование ок... купи р-р... ованных те... рриторий»?.. Читать вслух стеснялся: а вдруг прочитаю неправильно...

И всё-таки, в один из вечеров, который можно справедливо назвать прекрасным, я решился. Глядя в разложенный на столе газетный лист, прочитал вслух её название и заголовок передовой статьи. По складам. Молча читать оказалось легче... Мои педагоги – родители никакого удивления не проявили... Как позже выяснилось, они посчитали, что я просто повторил запомнившееся при чтении отца, якобы прочитав самостоятельно. И вдруг до них дошло: газету-то отец ещё в руки не брал и вслух её не читал!...

– А ну-ка, Стасик, прочитай вот здесь, – взволнованный отец ткнул пальцем наугад в какое-то место газетной страницы...

Стасик прочитал и «вот здесь». Родители переглянулись. Верилось с трудом, но сын читал, кажется, по-настоящему. Ещё несколько контрольных проверок и факт, как бы ни был он удивителен и невероятен, оказался фактом. Каким-то непостижимым, для профессиональных учителей, образом их отпрыск научился читать самостоятельно. С тех пор я сделался постоянным чтецом газет вслух, услаждая своих родителей не только победными сводками Совинформбюро, но и своими сверхъестественными, по их мнению, способностями. Отец даже радио выключал: «Ты у нас лучше Левитана».

Первую детскую книжку мне довелось взять в руки только после окончания войны. До этого знаменательного случая читать приходилось газеты. Мамину книжку «Война» тоже пытался прочесть, подозревая, что уж она-то – самая интересная из интересных, раз про войну, но смог одолеть всего лишь несколько страниц и разочаровался: не нашёл в ней войны, в моём понимании. Зато одолел полностью дореволюционного издания, с «ерами», книгу «Цесаревичь» в голубовато – сером с золотом переплёте. И... «Граф Нулин» Пушкина – тоненькую брошюрку окопного издания. Это – в пять – шесть лет. После «Графа» мама недоверчиво спросила:

– И что же ты в ней понял? О чём книга?

Понял я, конечно, далеко не всё как следует, но в целом смысл содержания усвоен оказался довольно верно, что и выяснил последующий короткий, но щадящий, экзамен, когда слегка потрясённым родителям были продемонстрированы наизусть некоторые части поэмы.

Вскоре пришлось и «писать», и опять без помощи родителей. Они ведь у меня работали. А детского садика при воинских частях ещё не завели. И никаких там «близких» или знакомых, у кого меня можно было бы оставить, не находилось и в помине. Полную свободу мою ограничивали только запретом отходить от дома далее, чем на полсотни шагов. Моих. Но вот однажды возникла совершенно отчаянная необходимость уйти гораздо дальше и неизвестно когда вернуться обратно...

Сыном я был законопослушным, беспокоить родителей лишний раз не позволяла относительно безупречная совесть, – решил поставить их в известность о своём уходе, оставив «записку». Ни карандаша, ни бумаги, да и рисовать буквы я ещё не наловчился. Выход подсказала обстановка. Столбики крыльца обвивали стебли какого-то вьющегося растения. На нём имелось множество тонких сухих. Из этого подручного материала и было выложено на скамейке что-то вроде «япашол кпе тя».

Где живёт таинственный Петя папа с мамой не имели никакого понятия, но наказания за нарушение договора и самовольную отлучку удалось избежать: потрясённые «запиской», сложенной из палочек, родители великодушно меня простили. Правда, смысл послания они, по их же признанию, постигли не сразу.

Время заполнялось не только чтением военных сводок и грамматическими упражнениями. Почти всё время находясь среди взрослых военных людей, занятых своей войной и службой, я, естественно, скучал без общения со сверстниками, и, как только представилась возможность, быстро познакомился с местными ребятами, принимал участие в их играх, шатался с ними по городу, пока не отправлен был в детский садик. Надо сказать, не очень то и обрадовался – лишение свободы, всё-таки... Но однажды прогулки с кобринскими пацанами кончились для меня довольно плачевно. Могли оказаться и ещё хуже...

Одному из нашей компании понадобилось навестить своего родственника. Дом его находился от города не очень далеко, но всё-таки там, куда ходить мне категорически запрещалось. Не мирной и зловещей была репутация у тех мест. Оттуда в город по ночам приходили таинственные существа, которых называли бандеровцами... Для меня это слово даже по созвучию, бандеровцы – банда, означало слово бандит – злобный и кровавый зверь. Бандиты одевались

в военную форму советских солдат и на внешний вид не отличались от них. Эти оборотни хорошо известными им закоулками, проходными дворами, сквозь дыры в заборах, оставаясь незамеченными военными патрулями, подкрадывались к домам, где жили на квартирах офицеры Красной Армии. Дома старались выбирать стоящие подальше от соседних... Стучали в дверь. Подошедшего к ней офицера называли по его воинскому званию и фамилии. Передавали устный приказ срочно явиться в штаб воинской части. Офицер, принимая одетого в красноармейскую форму бандита за обычного курьера, одевался, поспешно выходил на улицу и – падал с разрубленным черепом. Бандеровцы орудовали топорами – бесшумным и верным оружием.

И адреса, фамилии, и воинские звания бандиты узнавали через местных жителей – иных путей быть не могло. Среди этих же жителей и растворялись, как яд в воде. При опасности облав со стороны армии или уходили подальше в леса, дававшие совсем недавно приют другим нерегулярным воюющим отрядам, называемых партизанскими... Другими словами: против гитлеровцев воевали партизаны, а против Красной Армии – бандиты. Название зависит от идеологической позиции – суть не меняется.

Вот и отправились мы в одну из полу-лесных деревенок под Кобрином. Впрочем, это, кажется, не было и деревней, а хутором. К домику, стоявшему на краю поляны, подошли по узенькой тропинке. Внутри его оказалось довольно просторно. Из обстановки: русская печь, стол, лавки, полки и больше ничего. За столом на лавке сидел молодой солдат. Чистил немецкий автомат, называемый у нас «шмайсером». Беловолос, белолиц и, кажется, белоглаз: глаза очень светлые и посередине – чёрная точка зрачка, словно дуло автомата, выплюнувшего из себя шомпол с тряпочкой на конце... «Человек с ружьём», то бишь, с автоматом, в родной советской военной форме сразу вызвал доверие. Я дружески ему улыбнулся – к своим, значит, пришли. На знак внимания с моей стороны к своей персоне парень с автоматом не обратил никакого внимания, продолжая не спеша протирать его детали. Какая-то странность отличала его форму от той, которую носили наши солдаты... Всё, кажется, на месте... Нет, не всё: на гимнастёрке нет погон...

Между тем разговор того, кто нас сюда привёл, с хозяйкой дома окончился, можно было уходить и тут один из нас, верзила с какой-то нелепой клочкастой головой, сказал беспогонному солдату, кивнув на меня:

– А ось вот этот вот – сын красного командира, пана подполковника.

Парень посмотрел на меня повнимательнее, помолчал, подумал:

– Правда, что ль, пан сын пана подполковника? – и усмехнулся, сухо прищурился, как прицелился. Зрачок – дуло автомата глянул на меня в упор.

– Да, правда, – ответил я, не видя повода отпираться: – А что?

«Солдат» промолчал, не спеша собрал свой чёрный автомат, встал, потопал зачем-то ногами, пинком толкнул табурет под стол и подошёл к двери, держа автомат в руке за рукоятку стволом вниз... Упёрся ладонью в дверь, постоял несколько секунд неподвижно... Вдруг порвернулся в мою сторону, вскинул «шмайсер», схватил его за рожок другой рукой, направил ствол на меня. Замер. И: «Тра-та-та-та!» – грянул его резкий голос... Слово крепкий мороз приизал меня с ног до головы. Я не мог пошевелиться и стоял, как бесчувственный столб. Кажется, уже умер... Но всё слышал и видел. «Пу-пу-пу!» – затряс автоматом парень. Увидев, что пугань удалась, заржал довольно и хлопнул за собой дверь. А я и не знал, испугался или нет – насквозь онемел.

Сдвинулся с места я не сразу. Только после того, как услышал весёлый смех своих спутников:

– О це як же гарно пошутковав пан Грицько!

«Пошутил»... Мороз постепенно отпустил, чувствительность вернулась. Вышел из хаты вместе со всеми и мир вокруг показался несколько иным.

«Человек с ружьём» в военной форме без погон озадачил. И у формы вид необычный, и оружие немецкое, и рожа не бритая...

– Ребята, а почему этот солдат без погонов?

– А он и не солдат вовсе, – ответил тот, кто указал на меня парню с автоматом.

– Почему не солдат? Он же в форме?

– А потому... Ты, малец, давай-ка отойди от нас и топай один. Ещё чего, чтобы и нас, с тобой заодно, того... попало.

Тычок в бок оттолкнул меня в сторону. Ватага кобринцев шла по дороге, часто озираясь по сторонам, словно ожидая кого-то увидеть в полумраке мрачнейшего леса. Да и сам я мысленно представлял себе: вот сейчас из за вон тех кустов выскочит тот парень с немецким автоматом... Вот он выйдет и что-нибудь со мной сделает – уже не понарошку... Ребята пойдут дальше, а я... Стволы деревьев возле узкой дороги ещё светились в постепенно темнеющем свете дня, а за ними стущалась уже казавшаяся мне зловещей тьма.

Но вот и город показался. Лес нехотя расступается, выпуская нас из своих недр. Навстречу патруль с автоматами за плечами вниз стволами. Оружие – родные ППШ. Я облегчённо вздохнул. Страшно идти одному в стороне от тех, кого считал своими товарищами, и кто прогнал меня – по существу предал, а если вдуматься, то и заманил в ловушку. Я мог бы исчезнуть бесследно. Родители не знали, где я, а спутники мои, «верные», никому и никогда ничего не сказали бы...

А попутчики казались чем-то разочарованы...

– Ну чего, москаль, сдрейфил? – насмешливо повернулся ко мне верзила с белесой чёлкой над длинным узким недобрым лицом. Его приятели захихикали:

– Видать, что сдрейфил. Вон тащится сзади, як чучело.

– Так вы же сами меня прогнали от себя. Это вы испугались чего-то со мной рядом идти – сами сказали...

– Нет это ты сдрейфил. А докажи, что не трусись. Вставай к дереву, а мы в тебя с лука стрельнем. Если не трусись – не утикаишь. Мы шутейно, – презрительно перекосившись ртом и глазом подначил меня тот же верзила.

Расстрелять меня, значит, собрались. Шутейно. Я к такому юмору оказался явно не расположен: не хочу расстреливаться. Тогда меня обозвали трусом, скорчили насмешливые рожи, высунули языки и опоганили окрестности нечеловеческими звуками. Трусом быть не хотелось даже в шутку. Выбора не оставалось. Согласился: валяйте, гады, расстреливайте, не боюсь я вас. Как и того паразита с автоматом... Теперь казалось, что я и в самом деле не испугался.

Оружие, из коего меня взялись расстреливать, представляло собой настоящий лук и несколько стрел к нему. Стрелы были, ясное дело, деревянными, но наконечники – из рубашек настоящих металлических пуль. Нёс весь этот набор цапек верзила с чёлкой. Этот не пошутит... Но всё-таки лук с тетивой – это же всего насвего просто палка с верёвочкой: подумаешь, тоже мне, – «оружие», думал я, стараясь внушить себе иронию и настроиться на шутливый лад... Да и не верилось, что в меня всерьёз запустят стрелой. Поставили шагов на десять от стрелка. Верзила поднял оружие, наложил стрелу на левый кулак, сжимающий лук. Натянул тетиву, прицелился, эдакий Вильгельм Тель...

Наконечник смотрел в мои глаза остро и зловеще. Стреляющий – внимательно и прицельно: он настроен серьёзно и постарается не промахнуться. Страшновато, тревожно, но в то же время держалось странное ощущение нереальности происходящего, словно я смотрел на себя со стороны или даже и совсем не я это был... От резкого удара голова дёрнулась назад. Стрела, выпущенная из «подумаешь», угодила прямо в середину лба. Ладно, не пробила. Спасибо челу – крепким оказалось. Но кровь брызнула в разные стороны, образовав почти правильную пятиконечную звезду... Зрелище вызвало у моих «товарищей» живейший интерес. Они окружили меня, рассматривая ранку и дивясь её форме.

– Тю! Ось, побачтэ, яка звизда – ну чистый комиссар!

– Эге ж. А яка червона!

– Так вин и е червоний, як ёго батька... А шо ж теперь нам будет? Слухай, Станислав, – сделав ударение на и, сказал верзила, – Ты, смотри, не говори своим, что это мы тебя поранили. Скажи, на сучок наткнулся в тёмном лесу... Не говори, а то мы... А то мы знаешь кому скажем и тебя, и батьку твого... того, сам знаешь чога...

Ранка оказалась пустяковой – не глубже толщины кожи. Дома кровавую, уже подсохшую, звезду смыли кипячёной водичкой, ранку смазали йодом, кровообращение в мягком месте освежили несколькими шлепками, не болезненными, но обидными, и запретили впредь водиться с таким любознательным обществом... Я всё-таки сказал, кому обязан своим украшением. Попади стрела немного пониже – не водиться бы мне уже ни с кем, и никогда...

Суровое время, суровые игры. Если только это были игры... Возможно, тот, чья стрела ткнулась в мой лоб, не попал в него, а промахнулся, метясь совсем в другое, более уязвимое место. Ведь он мог бы не говорить тому парню с автоматом, что я сын русского офицера: к чему бы ему об этом знать, Но сказано было – значит и цель сказанному имелась. В доме со мной расправиться – подвести хозяина: вдруг докопаются – сын подполковника ведь. Возможно, собирались это сделать в лесу, перехватив на дороге. Недаром же спутники мои шли, не спеша и оглядывались по сторонам... Недаром же и расстрел устроили. Может быть, все эти предположения – всего лишь домыслы и версии, но отец все их высказал, анализируя случившееся. Последующее происшествие подтвердило его подозрения...

Захватчики обустроивались в городке аккуратно, прагматично и предусмотрительно. Подстраховали себя и от нападений партизан, и от наступающей армии возмездия – понастроили ДОТов и ДЗОТов, обмотали их колючей проволокой, соорудили оборонительные рубежи со всех возможных сторон наступления. И сам город превратили в сплошной очаг продуманной обороны. Времени на все эти защитные сооружения у немцев было предостаточно: Кобрин был захвачен одним из первых и освобождён одним из последних городов на территории Советского Союза.

С 19 июня 1944 года начались бои за Кобрин. Одни ожесточённо его штурмовали, другие упорно противостояли им. Не ожесточённых боёв, впрочем, не бывает – только степень ожесточённости меняется... Сначала артиллерия раздолбила с восточной и южной стороны всё, что понастроили для своей обороны немцы, а затем пришлось выковыривать их остатки из обломков этих укреплений, в которых они, упорно защищаясь, засели более прочно, чем раки – отшельники в раковины...

После боёв, как ни старались трофейные команды, на улицах, в огородах и на пустырях оставалось ещё довольно много брошенного испорченного, но и годного к употреблению оружия. Подбирали его все, кому оно в той или иной степени понадобилось. Степень нужды мальчишек определялась игрой в войну. Почти у каждого «игрока» в потайных местах что-нибудь да было припрятано. Наши курсы вошли в город по свежим следам боевых частей и кое-что из остатков стрелкового и холодного оружия перепало и в мои руки. Мой тайничок тоже хранил несколько единиц орудий смертоубийства, и о них, само собой разумеется, не знал никто, кроме меня. Прежде всего я берёг своё оружие от собственных родителей – как бы не отобрали, как тот красивый ножик... Этот тайник и сыграл решающую роль в спасении жизни всей нашей семьи. Если бы не он...

Тайник располагался под крыльцом дома, где мы стояли на квартире. По крыльцу много раз в течении дня топали ноги и отца с матерью, и мои. Утром его ступеньки первыми прогибались под каблуками отцовских сапог. Низенькое крылечко без перил. Серенького цвета. С изношенными досками. Сбоку две из них болтались на одних верхних гвоздях – они-то

и прикрывали мой страшно секретный схорон. Никому в голову не приходило, и не могло придти, заглянуть в скучные недра старого крыльца. Кроме меня, разумеется, да старой кошки с довольно облезлым хвостом и подозрительностью к людям.

В то солнечное, но какое-то тускловатое, утро я оказался первым, кто раньше всех оказался готов к выходу из дома. Первым и вышел. Дом имел два выхода: один – тот, о котором уже рассказано, вёл на крыльцо с моим тайником; другой не имел никакого крыльца, выпуская выходящих прямо на землю и во двор. Мама называла его «чёрным ходом», а тот, который имел крыльцо, гордо именовался парадным. Отец ещё только начинал надевать на себя свою военную амуницию, мать тоже не всё ещё завершила в своих утренних делах. Кое-какое время подождать их на улице ещё имелось, заодно проведая и своё хранилище...

Оно находилось на теневой стороне дома, а захотелось выйти на солнечную. Недовольно скрипнула и с досадой хлопнула, закрываясь, дверь, я оказался на дворе. Начинался последний месяц осени, но ещё оставалось забытое летом тепло. Пожмурился на солнышко, потоптался и направился вокруг дома к крыльцу, встретить своих родителей – вот-вот должны выйти. Доски равнодушно висели на своих местах. Я наклонился к ним, открыл и... не увидел своего арсенала... Вместо него под верхним настилом крыльца лежал какой-то ящик с разноцветными, симпатичными на вид, проводочками. Вчера вечером его не было. Значит: кто-то его положил сегодня ночью. Может быть, папа?.. Зачем? И что, интересно, у него внутри?.. Еле удержался от соблазна подёргать за проводки и вытащить сюрприз наружу. Видимо, сработал инстинкт, уже успевший выработаться при обращении с нашими взрывоопасными игрушками, да и слова отца об осторожности даром не пропали.

Не мешкая, озадаченный, я побежал в дом тем же кружным путём, которым из него и вышел. Ворвался в комнату как раз в тот момент, когда отец взялся рукой за скобу двери, ведущей на крыльцо:

– Папа, подожди не открывай!

– Что такое? Почему?

– Там под крыльцом какой-то ящик стоит.

– Что ещё за «ящик»? Ты, что ли, принёс поиграть? – отец открыл дверь...

– Да не я вовсе! Его там вчера не было, а сегодня есть, а мой пистолет пропал. Это не ты принёс?

– Ничего я не приносил... Какой ещё пистолет? Да что ты выдумываешь? Ну, пойдём посмотрим. – Отец ступил ногой на порог. В эту ногу вцепился я, повиснув на ней живой гирей.

– Папа не ходи, говорю! Не пущу.

– погоди, отец, не выходи здесь, – вмешалась мать. – Он, кажется, ничего не придумал. Лучше обойди с другой стороны и посмотри, в самом деле, чего там Стасик нашёл.

– Ну, пойдём, показывай. – Отец нехотя отступил, наконец, от опасной двери и мы, все трое, вышли через «чёрный ход».

– Ну и где он, этот твой ящик?

– Не мой он вовсе, А не знаю чей. Вот тут он, – я ткнул пальцем в сторону уже казавшегося зловещим крыльца.

Заглянув под него, отец сменил скептическое выражение лица на тревожное. Посмотрев некоторое время внимательно на «ящичек», он очень осторожно опустил доски, висящие на гвоздях, на место.

– Вот что, дорогие мои. Погуляйте-ка где-нибудь подальше, пока я за минёрами – сапёрами сбегая... Ближе к этому дому не подходите и других не пускайте. Так и скажите: заминировано, мол. Де не пугайтесь. Вот придут сапёры, разминировуют и всё будет в порядке. А ты, Станислав, молодец и спасибо тебе, родной ты наш, от имени командного состава курсов и своего лично: благодарю за службу!

– Служу Советскому Союзу! – отрапортовал я по всей форме, приложив лудонь к шапке, – А за что, пап?

Отец, как взрослому, серьёзно пожал мне руку. Мама умилено прослезилась.

Немногое время спустя прибежавшие сапёры извлекли из под крыльца ящик, очень похожий на обычный посылочный, сколоченный из фанеры, только с торчащими проводочками. Стоило отцу или любому другому человеку встать на доски над этой «посылкой» и дом взлетел бы на воздух вместе с нами... Случилось это накануне 7 ноября, а отцу недавно присвоили звание подполковника: хотели «поздравить». Ничего не скажешь: разведка у бандеровцев работала неплохо...

В сложностях отношений местных жителей к советской власти и Красной Армии разбирались НКВД и СМЕРШ, а на стенах некоторых домов всё ещё оставались расклеенный партизанами листовки и, случалось, рядом – приказы гитлеровцев.

«1 – Для гражданского населения хождение по улицам разрешается только с 6 часов утра до 17 часов 30 минут.

2 – Для удобства посетителей кино билеты, взятые на последний сеанс, будут действительны также и на право хождения по улицам до 21 часа; билеты следует тщательно сохранять и предъявлять патрулям и караулам по их требованию. Билеты действительны только на дату, помеченную в них, и лишь на проход от кинотеатра до места жительства. Всякое злоупотребление будет наказано».

В целях надлежащего воспитания кинофильмы немцы показывали только свои, не первой свежести и качества. Оккупированное население смотреть их не особенно стремилось даже от нечего делать – вот и пошли оккупационные власти на послабления. Ими, конечно, воспользовались, и даже со «злоупотреблениями». Да такими, что вскоре появился следующий приказ бургомистра:

«Несмотря на приказ о запрещении хождения по улицам города с наступлением темноты лицам, не имеющим особых пропусков и билетов в кино на день выхода на улицу в неположенное время, хождение по городу до 10 и 12 часов продолжается. Учитывая обстановку в последний раз предупреждаю:

Всем гражданам, как бойцам батальона, так и гражданским лицам, не имеющим особых пропусков, прекращать движение по городу с 17 часов 30 минут. Лица, ходящие по улицам города без особых пропусков и соответствующих билетов в кино, после указанного выше времени, могут быть подстрелены или убиты часовыми.

Бургомистр.»

В городе жили и немцы – им, так и быть, разрешалось прогуливаться на час или два подольше – высшая раса, как никак, должна дышать хоть и оккупированным, но всё-таки свежим воздухом. Патрули и караулы доверяли только «аусвайсам» – пропускам, выдаваемым военными комендатурами. Получить их можно было, без лишних хлопот, под предлогом, например, поездки в деревню за продуктами, для выменивания вещей на продовольствие. Для этого необходимо было всего лишь написать заявление в ортскомендатуру и сунуть вместе с ним паспорт. Если обернуться туда и обратно в течение дня не удавалось и необходимо было где-нибудь заночевать – не миновать поклониться старосте деревни, назначенному военной властью оккупантов. Тот внимательно изучал документы и, если они не возбуждали у него подозрений, сомнений и вопросов, милостиво разрешал переночевать.

Бургомистры и старосты после своего назначения, в свою очередь, немедленно получали приказы об их обязанностях, правах, ответственности и правилах поведения. Стандартные.

– «За всякое партизанское нападение, случившееся в районе населённого пункта, жители последнего привлекаются к ответственности. При том в случае недосмотра местного населения

из него будет расстреляно такое количество людей, которое будет не менее удвоенного числа пострадавших от партизан немецких солдат.

– «За всякое повреждение дорог, разрушение мостов, раскладывание мин и т. п. будет расстреляно в зависимости от серьёзности случая известное число, но не менее трёх местных жителей.

– Тот, кто без разрешения бургомистра или сельского старосты даёт убежище или питание посторонним или оказывает им какую-либо другую помощь, будет, безразлично мужчина или женщина, повешен».

Проникновение в город тех, кто в нём не был прописан, требовало большей сноровки и известной доли риска, но тоже не являлось безвыходной проблемой. Для её разрешения существовали рынки, где торговали по выходным дням. Народ шёл туда толпами, документы проверяли не у всех: иди в массу и только не выделяйся внешним видом. Ватником, например, – гитлеровцы не сомневались в том, что все партизаны в этой дикой России непременно носят только ватники. Отсюда и вывод делали элементарный: если человек в ватнике – значит непременно партизан, иначе и быть не может. Хватай его без раздумий – не ошибёшься.

Местную полицию и старост оккупанты обязывали строго настроено следить за всяким появлением во вверенной им зоне людей «особой категории». К ней относились: руководящие работники советской власти и НКВД; члены коммунистической партии и Коминтерна; политические руководители промышленных предприятий; руководители комсомола; комиссары Красной Армии; редакторы газет и все сотрудники милиции. Обнаружив этих, безусловно самых опасных для германского вермахта, лиц их надлежало немедленно задержать и впредь считать военнопленными... Вот последнее было странно – военнопленные имели свой особый статус и немедленному расстрелу подвергнуться не могли... Но их, бывало, расстреливали. Бывало, что и нет. Всё зависело от того, какой немецкий начальник распорядился их судьбой. Не все немецкие генералы одобрительно относились к беспределу бесчеловечностей, пропитавшему кровью всю, захваченную гитлеровцами, территорию России. Гитлеру отправлялись письма с требованиями прекратить казни и расстрелы мирных жителей. Не все эти требования были вызваны чувством гуманности...

Надо сказать, – Гитлер вовсе не являлся таким уж безмозглым садистом – людоедом, не понимавшим того, что творят вдохновляемые им солдаты. На совещании, которое он проводил перед нападением на Россию, Гитлер требовал от своих генералов беспрекословного исполнения его приказов о неприменной беспрецедентной жестокости и беспощадности ведения войны против Советского Союза, в то же время предупреждая о возможности неприятия немецкими генералами диктуемых им методов. Он говорил о снятии ответственности за проявление жестокости солдатами вермахта, потому что Советский Союз не подписал Гаагских соглашений о статусе военнопленных и поэтому с советскими военнопленными можно обращаться, не считаясь с международными правилами ведения войны. Тем более с партизанами. Их немцы не знали за кого и принимать: не солдаты и не мирные жители; не военные, но воюют, и что это, вообще, за род войск? Для простоты считали русскими бандитами – нечего с ними церемониться: к стенке, на перекладину или в яму, если нет ничего, более подходящего. Но для расправы, как минимум, партизана нужно было поймать, а от вреда, причиняемого им, необходима защита. Многочисленная. Регулярные войска снимать с фронта очень не желательно. И придумали следующее: бросать на борьбу с партизанами отряды из власовцев, полицейских и, для укрепления и вдохновения сих вооружённых сил, – разоблачённых гомосексуалистов из числа германских военнослужащих... Стрелять они тоже умеют, к тому же экономия более достойных смерти на фронтовых полях боёв солдат и выражение презрения к партизанам.

Многие немецкие военачальники считали массовое истребление народа России пагубным для самой Германии. Не всегда из жалости к этому народу. Здесь присутствовал немецкий прагматизм и трезвый расчет. От массовых расстрелов, показательных казней и прочих видов

уничтожения, по их мнению, следовало воздержаться лишь до окончания войны. Во время военных действий, когда ещё не разгромлена Красная Армия, кровавые жестокости захватчиков не столько пугают, сколько озлобляют население, особенно русское – самое опасное, вызывают ненависть и стремление отомстить, и со стороны солдат противника, и со стороны мирных жителей, становящихся уже совсем не мирными. Они уходят в партизаны и начинают вооружённую борьбу. «Сила действия равна силе противодействия» только в физике, а в войне, бывает, и превосходит её. Пропаганда противника на совершаемые злодеяния немедленно реагирует. Появляются листовки, выпускаются кинофильмы, пишутся стихи, распечатываемые в газетах, почтовые открытки: «Воин Красной Армии, спаси!» – мать с ребёнком на руках и кровавый немецкий штык, нацеленный на него... И это – правда. И получается, что фашистская карательная система работает против себя самой, не уменьшая сопротивление, а многократно увеличивая его.

Доходит до того, что казавшиеся надёжными подразделения полиции переходят на сторону партизан, прощения просят за свою измену и дерутся потом яростнее тех, кто ушёл в партизаны с самого начала войны, стараясь завоевать себе прощение соотечественников... «Недалновидная политика, наш фюрер. Отдайте приказ немедленно остановить опасное для нас же кровопролитие. Давайте займёмся этим делом после нашей неминуемой доблеистой победы – там наверху». Гитлер не реагировал. По существу, можно вполне логично сказать: главным вдохновителем борьбы против фашистской Германии явился сам её фюрер Гитлер. Будь он воздержаннее в своих потугах уничтожить как можно большую часть населения России, особенно евреев, и больше доверяя тем, кто перешёл на его сторону из числа военнопленных и добровольцев – война против России могла принять совсем другой вид, имея и конец иной.

Приходя в партизанские отряды, некоторые, которые попроще, откровенно говорили об ожидании от прихода немцев улучшения своей жизни, но просчитались и опомнились при виде того, что творили захватчики на их земле. Гитлер в своих застольных разговорах угощал своих слушателей речами: «После завоевания России жизненный уровень оставшегося её населения повысится значительно», – здесь заверения фюрера и ожидания некоторых российских крестьян совпадали. Только вот дальше совпадений дело не шло, а действия гитлеровских «белокурых бестий» неуклонно и очевидно вело к полному уничтожению народа России без каких бы то ни было остатков для будущей «счастливой жизни».

Одной прекрасной ночью к звёздам взлетел штаб немецкой танковой дивизии, располагавшийся в Кобрине. Точнее то, что от него осталось после мощного взрыва, грянувшего как раз в то время, когда там происходило крупное военное совещание. Безупречную подготовку взрыва обстряпали очаровательные женщины, киевлянки, работавшие по принуждению в деревне Лепесы. Симпатичные и улыбчивые, они приглянулись немецким офицерам, желавшим видеть их на работе в своём штабе. Не знали, несчастные, кого привели. Обаятельные полногрудые красотки уже давно были связаны с партизанами и их улыбки ничего, кроме скорой встречи со смертью, немцам не обещали. Штаб захватчиков оказался лакомым кусочком для диверсии. Фантазия, изобретательность, обворожительность, взрывчатка – и нет немецкого штаба. Женщины после выполнения своей задачи благополучно скрылись. Гитлеровцы отыгрались на пятерых молодых парнях, тоже партизанах, но участия в уничтожении штаба не принимавших. Их повесили на площади. Важно было наказать – повесить, а кого – особого значения не имело.

Надо сказать, и немцы применяли против партизан изощрённо коварные методы борьбы с использованием молодых симпатичных девушек. Русских же. Их заставляли угрозами расправы с родными и близкими или покупали за какие-нибудь вещицы, представлявшие для красоток ценность. Конечно, не все покупались на германские безделушки. Но всё-таки покупались и не в таком уж маленьком количестве. Согласившихся предать свой народ легкомыс-

ленных девушек снабжали ядом, если предполагалось отравление отряда или его командиров, или же ставили задачу элементарной разведки. Попадались на приманку молодые командиры партизан – брала своё кипучая кровь. Особенно в лесу. Подкупленные красавицы против кипения не возражали, а в промежутках между ласками и ублениями плоти делали своё опасное дело.

Агентуру немцы засылали в отряды массами. Различных калибров. Разоблачить их часто оказывалось невозможно – не до разоблачений было в боевой обстановке. Пришедшие образцово-показательно клялись в ненависти к врагу и рвались в бой, на самом деле сообщая фашистам всё, что те от них требовали. Много партизанских отрядов смогли уничтожить немцы в первый год войны. Особенно тех, кто создавался стихийно – из несведущих не только в партизанской войне людей, но и вообще не имевших никакого военного опыта. В некоторых областях Белоруссии от первоначального количества партизан, достигавшего десятков тысяч, в живых осталось только семь процентов людей. Остальные погибли.

Оккупанты обрушивали на отряды партизан даже целые воинские части с артиллерией и авиацией. В лесах Кобринщины шли тяжёлые бои. Много осталось убитых после тех боёв лежать по лесам. Поди отыщи их всех...

Не обошлось и без тех, кто подсоблял немцам по доброй воле. Эти прихвостни выдали эсэсовцам место, где скрывались подпольщики в одной из деревень, предварительно с деланным радушием встретившие их. В неравном бою погибли руководители Кобринского подполья. Вот из таких приверженцев фашистов и составились потом отряды бандеровцев. Возможно, и у них имелись какие-то счёты к советской власти, и их тоже скрывали местные жители – так же, как и партизан при немцах... Не всё так просто было в тех местах и до нападения Гитлера на Советский Союз. Стасик не знал, и не мог знать, о том, что происходило там, где он научился читать и пел хорошие русские песни...

В Кобрине впервые услышал я песню, настоящую партизанскую, народом сложенную во время оккупации:

На опушке леса старый дуб стоит,
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит, не дышит, и как-будто спит.
Золотые кудри ветер шевелит...

Перед ним старушка мать его стоит,
Слёзы проливая, сыну говорит:
«Ты когда родился батька врага бил,
Где-то под Одессой голову сложил...»

Накрепко, на всю жизнь, с Кобриным неотрывно срослась во мне и другая песня. Но уже только по ассоциации. Как-то пошли с отцом по каким-то общим нашим делам в военный городок. Прежде всего зашли в штаб, начав с дел военных. Мне обещано было, что визит туда будет коротким, но дело, видимо, затянулось. Отец всё не выходил из кабинета начальника курсов. Я бродил по выкрашенному в унылую тёмную краску коридору, смотрел в окно и слушал радио... За окном шёл дождь. Даже не шёл, а тащился, нудно и медленно. Чувствовалось – сам себе надоед. Небо, дома, деревья, воздух – всё выглядело серым, скучным, унылым, мокрым, оплывшим, поникшим, холодным. Настроение тоже поникло и слилось с пейзажем за окном... Ходил я вдоль длинного коридора, стараясь держаться поближе к стенке, чтобы не мешать стучащим каблуками сапог офицерам мотаться взад – вперёд мимо дверей в руках с бумагами и без... Потом они все куда-то исчезли, вместе с руками и бумагами... Навер-

ное, спрятались за тоскливыми плоскими рожами дверей с наклеенными на них табличками... Скука оплела душу серой паутиной, а отца всё не видно... И вот радио, наконец, прекратило своё нескончаемое кваканье, начался концерт по заявкам. Первой из круглого чёрного рта настенной картонной тарелки вырвался голос Марка Бернеса с песней из кинофильма «Истребители». «В далёкий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят...» Мелодия, аккомпонимент фортепьяно и то, как пел артист, удивительным образом слились с погодой и настроением – стало ещё более грустно и скучно, и я с нетерпением ждал, когда же это пение смолкнет. И пел артист хорошо, и мелодия прекрасна, только пришлась, видимо, для меня, не ко времени. Или к погоде. С тех пор, когда бы и где бы ни слышалась эта песня, тотчас же вспоминается безрадостная унылость моего минорного настроения в те минуты, когда я её впервые услышал, серый дождь за окном и серый пустой штабной коридор...

Чуть ли не первые слова отца при въезде в Брест были о полководце Суворове – в этом городе Александр Васильевич жил и надо непременно посетить его дом. Старого лейб-гвардейца русской армии тревожило – уцелело ли имение великого военачальника после долгой немецкой оккупации. Уцелело... Сохранились и две старинные пушки возле крыльца, с пирамидками чугунных ядер перед лафетами. Жилище генералиссимуса я мысленно представлял себе неким грандиозным сооружением, вроде замка или крепости, – только в таком мог жить великий военный. Но дом его выглядел довольно скромно и даже заурядно. Одноэтажный, выкрашенный в белый цвет, с традиционными для южных районов России ставнями на окнах, плоский, но обширный. Во время нашего посещения он внутри был чист и аккуратен – его вычистили красноармейцы и партизаны после изгнания захватчиков. Культурная нация устроила в нём конюшню... после неудачной попытки организовать в доме Суворова украинскую националистическую школу – тоже своего рода скотный двор для будущих подручных немцев, собиравшихся онемечить Украину не менее, чем на тысячу лет. Честь непобедимого воина была восстановлена, и успокоена душа его, наверняка страдавшая на том свете от поражения русской армии в 1941 году.

Не знаю, о чём думал отец в доме князя Рымникского. Должно быть, о чём-нибудь великом и важном. Меня же привлекли старинные пушки перед главным подъездом его имения. Они мне почему-то казались более грозными, чем современные орудия. Красивее, во всяком случае. Но отец разочаровал: пушечки и стреляли на небольшие расстояния, и ядра, выпущенные из них, не взрывались. Глянув на чугунные шары взглядом профессионала – разрядчика снарядов, я понял: ядра ни вскрыть, ни разрядить нет никакой возможности и рассмотреть что у них внутри не удастся.

Своё будущее имение в Кобрине Суворов взял боем 3 сентября 1794 года. Взял, что называется, с ходу, разбив корпус конфедератов генерала Сераковского, предваряя отстояв молебен в местной церкви для воодушевления и уверенности в победе. Произошло это при подавлении мятежа, с позиции России, и патриотической борьбы, с точки зрения Польши, под военным руководством Тадеуша Костюшки. Этот шляхтич, имея прекрасное военное образование, блеснул в войне Соединённых Штатов за независимость, успешно применил полученные знания в борьбе с Россией и успешно воевал с её армией до тех пор, пока за него не взялся полководец, более опытный, талантливый и удачливый. Суворов разнёс мятежные польские войска вдребезги и жестоко расправился с восставшими. И не только с ними. Казаки с удалью не милосердствовали, не щадя никого, даже младенцев... После этого похода на Польшу западные газеты поместили на своих страницах страшные карикатуры на генерал – фельдмаршала Суворова – Рымникского. Его изобразили жутким чудовищем с огромной плешивой головой, выпученными глазами и оскаленной, широко разинутой, пастью, поглощающей людей.

29 октября 1794 года полководец вступил в Варшаву на белом коне, в виц-мундире, без орденских лент и в офицерской шляпе, нарушив таким образом торжественную церемониальную формулу. По ней он должен был быть в генеральской парадной форме и в генеральской же треуголке. Видом своим Суворов давал понять, что не может считать триумфом итог учинённой кровавой бойни. Победитель сам выглядел чрезвычайно удручённым. Встретили его с ключом от крепостных ворот делегаты варшавского магистрата в покорных позах с саблями на боках, оселедцами на обнажённых головах и с нехорошими мыслями в них. «Благодарю Бога, что эти ключи стоят не так дорого, как...» И Суворов не договорил, взглянув на город. Вытер слёзы.

За подвиг сей, не за слёзы, конечно, Екатерина II пожаловала Суворова чином фельдмаршала и соизволила направить Сенату высочайший указ: «В воздаяние знаменитых заслуг нашего генерал-фельдмаршала, графа Александра Суворова – Римникского всемилостивейше пожаловали мы ему в вечное и потомственное владение из поступивших в казну нашу в Литовской губернии их экономии Бржестской, бывшей в числе королевских столовых имений, ключ Кобринский с прочими Ключами, фольваками и селениями...» В 1797 году император Павел I, полагая, что «так как войны нет и делать Суворову нечего», отправил полководца в отставку «без права ношения мундира»... Оскорблённый фельдмаршал напялил на себя чуждый с детских лет штатский костюмчик и отправился во свояси в буквальном смысле этого слова. Вместе с ним, не желая расставаться со своим кумиром, в отставку подали восемнадцать офицеров. Все они поселились в гигантском имении своего вождя. Каждому нашлось место для службы. Здесь же оказался и верный слуга Суворова Прошка, он же Прохор Дубасов.

Вопреки тенорку, которым разговаривал актёр Черкасов, игравший Суворова в кино, небольшого роста полководец имел огромный и роскошный командирский бас. Пользовался им не только для команд. Полков в Кобрине не имелось и фельдмаршал потрясал воздух и уши местных обывателей в церковном хоре на клиросе – пел он тоже замечательно. Мог и в колокола позвонить, взбираясь для этого богоугодного дела на колокольню. Благо и ходить далеко не надобно было – Петропавловская церковь стояла рядышком с домом. Ходил граф к ней через огороды напрямиком и даже тропинку свою проложил по ним. Прожил он тогда в Кобрине всего – ничего: с марта 1797 года по апрель того же года. Потом жил в селе Кончанское Новгородской губернии в ссылке. Заподозренных в заговоре против государя императора офицеров суворовцев арестовали в мае, долго трепали на допросах и отпустили с миром: никакого заговора не обнаружилось... В те жестокие царские времена ещё не научились пыткам светлого пролетарского будущего – под ними офицеры признались бы в любом заговоре и даже в попытке прорыть подземный ход из Польши до Петербурга с целью похитить бутылку шампанского из спальни Павла I для того, чтобы всыпать в неё яд...

3 марта 1799 году Суворов заехал в Кобрин на несколько дней, проездом, направляясь командовать русско – австрийской армией... Возвратился почти через год – в начале февраля 1800 года в сопровождении и в компании своего любимого ученика и сподвижника генерала Багратиона. Собирался пожить в тишине всего несколько дней – скоротать время в ожидании торжественной встречи в Петербурге, но вдруг занемог и задержался. Болезнь несклади затянулась. Причина была не только в ней, а и в характере полководца, наотрез отвергавшем любые лекарства...

Здесь же, в Кобрине, 7 марта 1800 года состоялась последняя встреча генералиссимуса с русской армией, превратившаяся в прощание, когда через Кобрин следовал маршем сводный батальон Екатерининского и Московского гренадерских полков, с которыми Суворов совершил походы в Италию и Швейцарию. В конце того же месяца, ещё не оправившись от болезни, Суворов распорядился везти себя в столицу и оставил Кобрин уже навсегда...

Стасик узнал об этих исторических событиях много позже.

Кобринские дома равнодушно дремали в то ясное и холодное, но тихое, утро, когда наша семья тарахтела мимо них на телеге. Лошадь не спеша брела по старинным булыжникам мимо окон, закрытых веками ставень, а мы не думали о том, что никогда больше не увидим этот маленький городок с большой историей. Улица на всю свою длину и во всю ширину выглядела пустынной, только взвод солдат шёл навстречу, мерно отбивая сапогами строевой ритм. По традиции военных лет солдатский строй обычно шёл с песнями. Но этот маршировал молча, сберегая, наверное, утренний сон мирного населения. Во мне же вдруг проснулось давно пропавшее желание петь и я с воодушевлением затянул «Прощай, любимый город...», почему-то подстроившись под ритм солдатских шагов. Подразделение подхватило, смеясь. Так мы и разошлись: солдаты в одну сторону, с песней, а мы в другую – с ней же. Настроение было хорошим – мы приближались к «логову фашистского зверя»: следующий пункт назначения курсов находился уже на чужой территории. Впереди, как всегда, неизвестность, но на этот раз особого рода: мы должны были оказаться в самом зловещем месте на Земле, где всё должно быть просто пропитано опасностью и угрозой всему живому – мы вступали в Германию.

Глава 3

Животные или люди?

Гитлер – Чаплин. Странный состав. Животные или люди?

«Шлюхи немецкие». Предатели или жертвы?

«Родина, как злая мачеха». «По вагонам!»

Война тяжело и медленно, как страшное многоголовое чудовище, огрызаясь, оставляя за собой кровавый след, пятилась на запад – туда, откуда она совершила свой ужасающий прыжок на Россию. Рёв её оскаленных пастей не утихал ни на минуту. Близилась агония. Всё ожесточеннее разили людей её зазубренные когти и клыки. Но там, откуда она ушла, наступала тишина... Эшелон фронтовых курсов шёл за своим фронтом и за войной по её следам, приближаясь к Германии.

Гер-р-рмания. Это слово рычало и мяукало, как тигр. Но представлялась не живым зверем, а чем-то неизвестным, но однозначно мрачным, тёмным, зловещим, страшным и угрожающим. Дома там должны были быть совсем не такими, как у нас. Вместо них над съёжившейся землёй тёмными громадами должны были бы возвышаться сооружения, больше похожие на окаменевших чудовищ с оскаленными пастьями... Или домов не было вовсе, а какие-нибудь ямы, похожие на бомбоубежища... Логово, одним словом – что-то вроде медвежьей берлоги. В нём ворочалось и рычало омерзительное чудовище – фашизм, прыгающее на поводке злобного выродка, тоже не имеющего в себе ничего человеческого, – Гитлера. И вот мы все ехали прямо в это самое отвратительное место на земле... Становилось тревожно, тягостно и непонятно: зачем нам надо ехать туда? Но мне объяснили: страшилище необходимо добить вместе с его поводырём, чтобы оно опять на нас больше никогда не напало...

«Поводыря» фашизма, Гитлера, видел я только на карикатурах и испытывал к нему чувства двоякие. Он выглядел страшным и смешным одновременно. И похожим на Чарли Чаплина, который мне очень нравился... Гитлера я ненавидел и презирал. Чарли любил за доброту и забавность. Но он имел гитлеровские усики... Или это Гитлер носил чаплинские. И оба они, по моему мнению, не должны были этого делать. Чарли не должен был быть похожим на врага всего рода человеческого, а фюрер совершенно не имел права иметь сходство с любимцем того же человечества... Сложность ощущений представлялась безысходной и я невольно подзревал и того, и другого в лицемерии. А причиной были всего навсего усики: у Чаплина я называл их «гитлеровскими», а у Гитлера – «чаплинскими». Родителей смущало такое отношение к диаметрально противоположным личностям. Они детально мне всё разъясняли, но ничего поделать с моими ассоциациями не могли. Хорошо, что в ту пору я ещё не видел фильма, где Чарли Чаплин действительно сыграл роль Гитлера – это внесло бы в неокрепший разум ещё большую сумятицу... Мне сложно было освоить простую истину: человекоподобие по имени Гитлер, возомнившее себя великим и стремящееся к мировому господству, можно низвести силой искусства до уровня ничтожества. Но для этого и искусство должно иметь великую силу.

Весна 1945 года вспоминается многими очень солнечной. Наверное, она и была такой на самом деле просто потому, что так уж сложилась погода или её создало настроение людей, ощущавших близкий и неминуемый конец омрачавшей и природу, и души войны. Пасмурных дней не запомнилось, даже если они и были.

Ослепительно ярким днём, когда солнце безмятежно сияло на абсолютно чистом голубом небе, наши паровозы решили перевести дух и утолить жажду. Эшелон остановился на одном из железнодорожных путей какой-то очень обширной станции. Взрослые занялись

своими неотложными военными и житейскими делами, а мы, Симка, Митька и я, отправились исследовать окрестности, следуя строгому наказу оставаться в благоразумных пределах – от одной крайней линии рельсов станции до другой.

Мы дисциплинированно шагали между привычными составами воинских эшелонов и вдруг обратили внимание на нечто необычное. Внешне оно выглядело как обыкновенный поезд, составленный из товарных вагонов. Только стоял он обособленно и охранялся часовыми. Несмотря на очень тёплый день, эти воины почему-то парились в шинелях и держали на изготовку свои винтовки с примкнутыми штыками. Обычно так зорко берегли поезда с «катюшами», что и являлось верной приметой: если что-то чрезвычайно бдительно берегут, накрытое на платформах брезентом, – значит под ним «эрэсы»... Это нам было известно безошибочно, вроде приметы дождя: если он капает – значит на небе туча...

Но в странном поезде никаких платформ не имелось. Одни лишь вагоны... До сих пор, несмотря на множество пройденных с тех пор лет, память видит их так же чётко, словно только что просмотренные кадры документального фильма. Будто не было никаких других эшелонов вокруг – только этот. Кирпично-красные, потёртые странствиями, обкусанные временем вагоны с белыми корявыми пометками на стенках... За ними по каким-то неясным признакам чувствовалось что-то тревожное и зловещее...

Наши попытки подойти поближе часовой пресёк решительно и недвусмысленно.

– Нельзя, пацаны. Назад, – и угрожающе повертел перед нами штыком.

Вот эти его боевые действия, направленные против своих же русских мальчишек, удивили, обидели и задели за живое. Теперь для нас стало делом чести во что бы то ни стало узнать что находится внутри вагонов. Ишь, нашёл на кого штык совать, «герой». Небось, и на фронте-то не был – вон гладкорожий какой, шинель с иголки, новенькая да чистая... Фронтвик ни за что не стал бы с детьми воевать...

Отошли в сторону. Принялись наблюдать... Каждый вагон закрыт наглухо. Окна ослеплены железными ставнями. Двери парализованы металлическими запорами – изнутри не открыть... А что же, всё-таки, там – за запорами и дверями?..

Стучали по стыкам рельс проходящие поезда, лязгали на маневрах составы, коротко переговаривались между собой паровозы, раздавались какие-то команды, шли строем и в разнорядной солдатской походке. Железнодорожная станция жила своей сложной военной жизнью. Заинтересовавшие нас вагоны стояли под яркими лучами солнца посреди светлого дня, но казались тёмными, будто находились в каком-то другом, не подчинённом законам природы, пространстве... Вдруг из угла ближайшего к нам вагона на рельсы потекла какая-то жидкость. Прямо сквозь пол. В лужу. Видимо, текло оттуда часто... Значит, в вагоне – кто-то живой. Скотина какая-нибудь? Зачем же тогда её так тщательно охранять? Секретная, что ли? Люди?.. Что тогда за люди, кто они? Пленные немцы?.. Вблизи наших военных эшелонов?

Уловив подходящий момент, когда часовой направился в противоположную от нас сторону и показал тупую спину, мы, пригнувшись, шмыгнули поближе к вагону, подлезли под него и оказались по другую сторону состава.

Под вагоном стояла лужа мочи. Это она вытекала из щелей в его полу. Туалета в нём, товарном, не имелось, и находящиеся там вынуждены были отправлять свои естественные потребности прямо в вагоне... Видимо, отвели для этого один из углов. В закупоренной чуть ли не герметично коробке, в жаркий день стоящей под прямыми лучами солнца, наверняка была невыносимая духота, вонь и спёртый воздух – если только можно назвать воздухом те газы, которые вынуждены были вдыхать запёртые в закупоренных вагонах люди.

Из за дощатых стен слышалась русская речь. Женщины... Кто-то протяжно и безнадежно плакал. Не в голос и не навзрыд, а монотонно вытягивал из себя безысходную свою боль... Кто-то пытался утешить, без уверенности в голосе. Кто-то кого-то проклинал. Кто-то негромко пел «на позицию девушка»... Кто-то кричал: «Дайте хоть воды, ироды!..»

Наши чувства описать трудно. Пустота в голове. Мы не знали что и подумать, и ничего не думали. Полное недоумение. Иродами могли быть только фашисты, но их поблизости не находилось: кто же не давал воды?.. Если в охранении стоят с винтовками наизготовку бойцы Красной Армии – значит, стерегут они врагов – немцев. Но в вагонах явно русские люди. Судя по голосам – молоденькие девчата... Какие же они враги?..

Уже не таясь, мы выбрались из своей засады и подошли к часовому.

– Товарищ ефрейтор, скажите: а кто там в этих вагонах?

Ефрейтор, явный и ретивый службист, вступать с нами в разговор не собирался. И без того хмурый, он помрачнел ещё больше и напустился на нас:

– Отойдите, пацаны. Не положено вам тут быть, и знать не положено.

Он мог бы ещё добавить, что ему и разговаривать с нами не положено. Но вовсе уж чуркой выглядеть ему тоже не хотелось – ефрейтор, всё-таки.

– А они там воды принести просят. Кто же там, дяденька? Почему их не пускают на улицу? Почему вы их охраняете?

– Вот я бы им принёс кое-чего... Уйдите, говорю, от греха к... матери!

– А у меня мама – жена подполковника.

Начавшийся конфликт прервал проходивший мимо офицер в выгоревшей полевой форме с потёртой кобурой пистолета на ремне, наш знакомый из штаба курсов.

– Эй, ефрейтор, негоже с нашими ребятишками матюками-то... А кого, в самом деле, так бдительно стережешь-то?

– Шлюх немецких, товарищ майор, – усмехнулся солдат не весело.

Офицер, странно прищурившись, посмотрел на охраняемый состав, нахмурился, сплюнул, покачал головой и молча пошёл дальше, глядя себе под ноги. Мы тоже, оставив часового в покое, отошли. Гулять уже не хотелось. Ошеломление не проходило. Стало не по себе, зябко и день показался не таким уж тёплым да ясным, и даже солнце потускнело... И вдруг за нашими спинами из вагона рвануло отчаянное и звонкое пение – «немецкие шлюхи» грянули «Катюшу», выходящую на берег крутой!..

Переступая по шпалам и перешагивая рельсы по пути к дому, то есть к вагону, я шёл словно отрешённый от времени и пространства и переживал то, что довелось увидеть и узнать. Всё оставалось не понятным и запутанным до невозможности разобраться самостоятельно.

– Мама, а что такое шлюхи и кто это такие? – подёргал за рукав маму, стирающую в ржавом тазу отцовскую гимнастёрку. Её владелиц, пришедший чем-нибудь пообедать, стоя рядом, наслаждался «козей ножкой», с удовольствием разглядывая тёплое небо.

– Что-что? Шлюхи?.. Какие такие и где ты это слово услышал? – опередил мамин ответ папа, выпустив сизую струю дыма.

– Дяденька часовой сказал, что охраняет каких-то немецких шлюх. Кто это – немецкие шлюхи? – повторил я свой вопрос уже в развёрнутом виде. Пришлось рассказать о загадочном поезде и его содержанием.

Отец с матерью молча переглянулись. Видно было, что ответить на мои вопросы им что-то мешает. Но отвечать придётся: сынуля опять преподнёс серьёзный и щекотливый вопрос. Не ответить – спросит у кого-нибудь другого, а как тот другой объяснит – непредсказуемо... Подумав длительное время и усиленно подылав, отец решился:

– Ну, сын, немецкие шлюхи – это, вот, такие, знаешь ли..., скверные женщины, которые дружились с немецкими солдатами. Их за это арестовали и посадили в плохие вагоны, чтобы наказать и проучить. Плохо ведь, в самом деле, дружить с собственными врагами, верно я говорю?

Ответ показался правдоподобным, но все пустоты в моей многомыслящей голове не заполнил.

– А какого, пап, провожала девушка бойца: советского или немецкого?

– Выразаться учись, Стасик, понятно для других и точно: какого ещё такого бойца, какая такая девушка почему провожала и на какие такие позиции?

– Там, в вагоне, пели: «на позицию девушка провожала бойца». Песня-то русская, а шлюха – немецкая: так вот какого же бойца она провожала?.. Если она дружилась с немецким солдатом – значит, его она и провожала?..

Отец посмотрел на меня удивлённо и настороженно: – В логике тебе, сын, не откажешь... Наверное, ты прав: кого же ещё провожать ей, если не своего друга... Вот её и наказали – она же предательница.

– А какого же врага тогда бьёт паренёк? Там, в песне, говорится: «и врага ненавистного крепче бьёт паренёк за – советскую родину, за родной огонёк»?.. Это что же получается: друг девушки, немецкий солдат воюет за советскую родину и бьёт своих товарищей?

Мама, прислушиваясь к нашему разговору, между своими делами, еле сдерживалась от смеха. Отец, пожалуй, оказывался загнанным в угол своими же ответами. Выпутаться из положения было сложно. Пришлось бы рассказывать всю правду, которой он не знал и сам. Объяснять значение слова шлюха тоже не хотелось – рановато сыну вникать в такие детали сложного человеческого бытия.

– Ты, Стасик, давай не путай меня и сам не путайся... Давай разберёмся. Дело, наверное, было так. Когда началась война, то эта девушка проводила на фронт своего друга – советского солдата. Так?.. Так. А потом так получилось, что в их город пришли немцы – ты же сам знаешь. И девушку заставили их развлекать: петь перед ними, плясать, откажись – расстреляли бы... Вот и получилось, что она, вроде как, подружилась с ними, что ли, – с немцами, то есть, и её увезли в Германию. Там она продолжала тешить немецких солдат и офицеров – наших врагов... Но всё равно помнила о своём друге – русском солдате... И вот наши войска пришли и теперь её, как предательницу, вместе с другими, такими же как она, отправляют обратно в Россию... Понятно, сын?

– Понятно... Только непонятно: она же ведь не сама к немцам пришла и не сама захотела с ними веселиться – её же заставили... Значит, она не виновата?

– Может быть, и не виновата. – Согласился отец, – ты же, говоришь, они наши песни пели... А может быть и сама захотела... Война, сын, – это очень страшное и сложное дело... Она всё калечит: и землю, и города, и души человеческие... Это хорошо, что тебе людей жалко. Не расстраивайся: их всех проверят, разберутся и отпустят, если они не виноваты.

Мама прекратила свою стирку и грустно задумалась...

– А ведь лучше бы сначала разобрались и уж потом что-то с ними делали... Что же получается: сначала этих несчастных немцы угоняли в Германию силой, а теперь наши... увозят обратно в Россию в жутких условиях, нечеловеческих... Ведь они не сами под немцами очутились – к ним пришли захватчики после того, как наши отступили... Бросили на произвол судьбы, защитники. Кто же виноват во всём оказался: всё те же русские люди?..

– Это, Муся, извечный русский вопрос – кто виноват... Не нам с тобой сегодня его решать... Как там у нас с обедом? А, Стасик, проголодался, небось?

Отец обхватил меня за плечи, потряс тепло и душевно. Я успокоился... Но до сих пор, стоит лишь услышать «Катюшу» и «Огонёк», как тотчас же сами собой пробуждается впечатанное в память навечно: ясный солнечный день, часовой с винтовкой, зловещие вагоны за его спиной, вонючая струя из пола вагона, тягучий девичий плач и отчаянное пение «немецких шлюх»... «Выходила на берег Катюша...» Не она ли сидела в том вагоне – та Катюша... О чём она плакала? О погибшем ли своём «сизолм орле» или о том, что её, брошенную в руки захватчиков и угнанную, как скотину, в Германию, возвращают на родину в таких же скотских условиях?..

Один из номеров журнала «Родина» в 2003 году открыл народу статью, в которой приводятся слова одной из тех, кого немцы угнали в Германию в 1941 году, кого освободили американцы в 1945-м, кто пережил кратковременный восторг освобождения, сменившийся несправедливым унижением репатриации, пенсионерки Марии Поляковой. Она говорила не только об испытанных муках лагеря смерти в Рёрене, но и о том, что и среди немцев находились добрые люди, относившиеся к русским хорошо, помогавшие им выжить. Сказала она и вот что: «Родина приняла нас, как злая мачеха...» Не сидела ли и она среди женщин в том страшном вагоне?..

«По ваго-онам!» Эта протяжная певучая команда, разноголосо и даже мелодично звучащая над рельсами и крышами воинских эшелонов, пробуждала в тех, кому она предназначалась, центростремительную силу. Все немедленно оставляли свои временные занятия и стремглав бросались к дверям. Поспешать было необходимо – состав мог тронуться с места в любой момент и тогда промедлившему придётся бежать вприпрыжку за набирающим скорость поездом, цепляясь за протянутые ему руки товарищей. Учитывая то, что у товарных вагонов нет комфортабельных пассажирских лесенок, такая погоня превращалась в довольно рискованное занятие, хотя оно не было лишено и забавных ситуаций. Правда, нужно уточнить, что веселились в основном только зрители со стороны. Тот же, кто нелепо подпрыгивал, стараясь попасть ногой на убегающую ступеньку, смеялся над собой лишь после того, как оказывался внутри вагона. Отстать от поезда скверно во все времена, но во время войны это особенно ужасно. Тем более военному. Того и гляди в дезертирах окажешься: попробуй доказать, что отстал случайно – команды, мол, не слышал или поезд не смог догнать.

«По ваго-онам!» – стала командой почти родной. Она означала и возвращение в свой передвижной дом на колёсах, и начало движения вперёд – дальше за фронтом.

Со стороны паровоза донёсся привычно нарастающий лязг буферов, вагон дёрнулся и плавно принялся набирать скорость. Знакомый перестук колёс успокаивал. Я забрался на нашу верхнюю полку и уютно устроился на своём любимом месте возле окна, положив руки на его нижнюю часть и опершись на них подбородком. Окошко, конечно, не имело стёкол, свежий, но тёплый, встречный ветерок поглаживал кожу и приносил с собой всё новые и новые пейзажи...

Глава 4

Вот оно – «логово зверя»

Граница логова. Чудо возле дороги. Кирха – туалет. Мертвецы. Самокат. Парад освобождённых. Мародёры. Приказ Жукова. Убитая косуля.

В тот день и час, когда наш эшелон пересёк границу с Германией, пейзаж по ту сторону распахнутых вагонных дверей представлял собой тёмный лес под низкими тяжёлыми тучами. Настолько тёмный, что казался скорее чёрным, чем зелёным. Собственно, никакой границы, как таковой, не наблюдалось: ни линий, ни столбов. Какие бы то ни было признаки её отсутствовали начисто. Просто кто-то из офицеров, совмещавший курение возле открытой двери с наблюдением окрестностей, вдруг сказал:

– Внимание, товарищи! Мы пересекаем границу и въезжаем в Германию!

Товарищи немедленно бросились к той же двери или выставили головы в окна. И никакого пересечения не увидели... Не известно, по каким признакам тот офицер определил точное местонахождение границы и, соответственно, нашего эшелона. Скорее всего достоверность информации была более приблизительной, чем точной.

Паровоз даже не притормозил, правда, и шёл не быстро, словно нащупывая дорогу под собой и озираясь по сторонам. «Хвост» поезда медленно выползал из Польши, а голова с той же скоростью проникала в «логово фашистского зверя»... На первый взгляд оно ничем не отличалось от всего остающегося позади пространства: позади лес – и впереди лес. В вагоне тишина. Все молча смотрели на медленно проплывающую мимо местность. Вот она – страна, одно звуко сочетание названия которой казалось мрачным и зловещим, как раскаты грома из тёмной грозовой тучи: Гер-р-рмания... Отсюда ударили во все стороны молнии, поразившие мир. Отсюда, глядя мертвенными глазами из под тяжёлого козырька военной фуражки, указал на Россию пальцем фюрер, пронзая им, как штыком, нашу мирную жизнь. Отсюда пришли к нам смерть, огонь, разрушение и бесчеловечная жестокость...

А мимо вагонов не спеша отступал к хвосту состава всё тот же банальный, вполне мирный, на внешний вид, лес... Впрочем, деревья и не воюют... Маскировать, правда, могут... Но вот появилось то, чего мы не видели за всё время наших прифронтовых странствий никогда. И даже не могли помыслить, что такое можно увидеть в принципе. Этого просто не могло быть – того, что мы увидели. Но оно было. И во множестве – вдоль полотна железной дороги валялись вещи. На этот раз не оружие – к нему все привыкли и не считали зрелищем, достойным внимания – эка невидаль. На траве лежали в беспорядке гражданская одежда, чемоданы, узлы, посуда, детские игрушки, куклы и что-то ещё, яркое и необычное, и местами блестящее. Непонятно: то ли всё это кто-то выбросил неизвестно почему, то ли перед нами валялись последствия бомбёжки пассажирского поезда. Но никаких воронок от бомб, никаких обломков вагонов или следов того, что они имелись, не замечалось... Просто зеленела заграничная трава и на ней разноцветными пятнами выделялись заграничные же предметы. И среди них то, что стало главным событием дня для нашей мамы...

Его я хорошо помню по реакции матушки: при виде такого чуда чудного и дива дивного она буквально едва не выскочила из вагона – еле удержали. А мама всё порывалась за распахнутую дверь, уверяя, что поезд идёт медленно и она успеет вскочить в него обратно – он же рядышком лежит... Отец что-то говорил о необходимости соблюдать достоинство советского человека за границей, но глас его явно не достигал цели, то есть маминых ушей... Событием оказался... таз. Обычный, по нынешним временам и понятиям, эмалированный таз средних размеров. Но то по нынешним временам, а в те времена явление такого таза, валяющимся

вот просто так на траве, было огромным и абсолютно необъяснимым чудом. Таким же, например, как в 50-е годы двадцатого века явление стиральной машины в дремучем российском лесу. И вот от такого сокровища матушка моя вынуждена была отказаться – поезд тупо, неумолимо и нагло пёр куда-то вперёд!.. Кто-то из офицеров бормотнул: «Погоди – там такого добра много будет...» Не верилось: такого таза много быть не могло. Мама потом, уже имея посудину лучшую того злонеполучного таза, долго ещё вспоминала ту – первую. Смеялась над своим порывом выскочить из поезда на ходу и грустно задумывалась: надо же так сложиться женской психологии, чтобы её смог поразить вид самого обыкновенного тазика, словно Дон Кихота, принявшего бритвенную посудину за «шлем Мамбрина». В распоряжении мамы в тот самый час имелся добрый старый испытанный друг – другой то ли таз, то ли корыто: посудина из обломков какой-то емкости с приваренным к ним листом ржавого железа.

Как бы красиво ни выглядел хищник, будь то тигр, леопард или любое другое великолепное животное, он всё равно вызывает опаску и настороженность: мы знаем о его нраве и звериной сущности. Вот так же воспринималось поначалу всё, что, как мы чувствовали, содержала в себе Германия. А выглядела она неожиданно красиво, очень живописно и аккуратно. Не верилось, что именно из этих чистеньких ухоженных домиков, похожих на иллюстрации к добрым сказкам Андерсена, вышли те, кто превратил в пепелища наши дома, окровавил до отказа нашу землю – хищники с кровавыми пастями и когтями. Как-то не соответствовало их логово страшному образу врага.

С трудом отыскал этот город на картах. Найти его нужно было для того, чтобы определить, чей же это был населённый, выражаясь военным языком, пункт: немецким или польским? Если судить по названию, то немецким. Но немцы, захватив Польшу, многие её города переименовали на свой лад. Мы считали его немецким. Но следом за ним пунктом назначения наших курсов оказался польский город Щецин, переименованный немцами в «Штеттин». Путь наш лежал строго на запад и, по логике событий, мы не могли оказаться в немецком городе прежде польского... Но всё-таки, Мезеритц считался городом немецким – так да и будет на этих страницах.

Само собой разумеется, в Мезеритце, как и во всяком уважающем себя западном городе, имелась церковь. Отец уточнил: церковь этот дом называется только «по-нашему», а по-тамошнему – это кирха. Культовое сооружение возвышалось над всем окрестным миром высоко и величественно. Шпиль уходил в небо указкой вертикально вверх и, как казалось, где-то в нём и растворялся. Храм был богато, торжественно, благочестиво и очень красиво украшен снаружи: скульптуры, каменный орнамент... Мама захотела обязательно посмотреть его изнутри и как-то раз мы её желание осуществили всей семьёй...

На высокое каменное крыльцо-возвышение взошли, уверенно перешагивая через естественные, для войны, препятствия – рассыпанные по нему обломки и мусор. Но возле самых дверей остановились... Они, высоченные под стать храму, были широко раскрыты, но поднебесный сводчатый зал заполнен был непреодолимым зловонием, а его пол – многочисленными человеческими испражнениями. Кирха стояла возле самой дороги и гостеприимно распахнутые двери её вызвали у прохожих справить в ней свои естественные потребности, весьма далёкие от духовных. Прохожими были наши солдаты... Нельзя сказать, что в обозримом пространстве не было более подходящего места для «туалета». Они, безусловно, имелись. Но объектом для облегчения нужды выбрана была именно церковь. Плоды атеистического воспитания лежали так густо, что невозможно было найти место, куда поставить ногу... Да и пропало желание входить в опоганенный храм. Ушли сильно удручённые и подавленные.

– Что же теперь станут думать о нас местные жители? – растерянно промолвила мама.

– Вопрос, Муся, риторический, – отозвался отец, – То и будут думать, что ты думаешь... Только не о нас с тобой и не о Стасике.

– А это, видишь ли, у нас на лбу не написано. Теперь обо всех русских скверно думать будут – и о нас тоже...

Но местные жители, способные или не способные думать, в городе никаких признаков своего существования не обнаруживали. Дома стояли пустыми. Ни одного жителя, ни в одной квартире. Некоторые из них оставались в таком виде, словно хозяева только что ушли на время и вот-вот вернутся. Кое-где даже суп, налитый в тарелки, стоял на столах. В других же квартирах виднелись следы панического бегства. Во многих все вещи были переверочены и разбросаны – следы «обысков»...

В подвалах, образцовой чистоты и порядка, на полках стояли многочисленные банки с домашними консервами: овощи, ягоды – обольстительная невидаль. Соблазн отведать «трофейные» продукты был так же естественен, как чувство голода. Но от командования последовало строгое предупреждение: консервы могут быть отравлены и оставлены намеренно, как бактериологическое оружие... Наша семья дисциплинированно эти предупреждения последовала, но, по слухам, нашлись и не такие бдительные: поели, признали вкусным и – остались живы здоровы.

Покинутый мирными жителями город выглядел большим военным русским гарнизоном. По его улицам ходили только военные, звучала только русская речь, ездил исключительно лишь военная техника. Пустые дома с открытыми квартирами в них вызвали любопытство и желание заглянуть внутрь индивидуальные человеческие жилища. Тем более – это была граница. Тем более – «логово зверя». Как же они, эти логова, выглядели изнутри? Как в них жили эти звери?..

Для нас, живших до войны в маленьких комнатках деревянного дома, а потом в деревенских домах юга России, «логовища» показались огромными. То, что сейчас называют «удобствами», поразили. Вместо деревянного настила из досок с «очком» посередине или просто ямы в земле перед нами предстало белоснежное нечто, названия чему мы просто не знали в то время – унитаз. Обстановка, мебель в комнатах, вещи – всё выглядело необычайно великолепно и роскошно не только в домах многоэтажных, но и небольших, по сравнению с ними, домиках...

В одном из них, куда мы зашли, комнат имелось несколько. Родители пошли посмотреть зал и кухню, а я открыл дверь в какую-то комнатку, предполагая, что там может быть детская с игрушками... Станный запах ударил в нос... Не сильный, но уже отдающий тлением. Где-то я уже ощущал его... Вдруг вспомнилось мёртвое поле «Бобруйского котла», усеянное телами погибших солдат... Войдя внутрь, я испуганно замер: на полу лежал человек. Не военный – в штатской одежде. Старик. Руки раскинуты, седая борода задрана к потолку. Туда же, не мигая, смотрят неподвижные глаза... На моё появление тело старика никак не среагировало, а моё стояло окаменевшим от ужаса столбом и смотрело на него тоже остановившимся взором. Наконец, дошло – передо мной мертвец.

Поспешно повернувшись, чтобы выйти из комнаты, я случайно упёрся взглядом в кровать, стоявшую возле двери. На кровати, раскинув руки и полусогнутые ноги, лежала обнажённая молодая женщина. Лицо покрыто распущенными волосами. В нагой полной груди торчит воткнутая столовая вилка... Женщина тоже мертва... Не желая того сам, я опять взглянул на старика и заметил бурую лужицу застывшей крови под его головой. Убиты... Словно какая-то тёмная сила сковала меня. Некоторое время я не мог даже пошевелиться, Хотел убежать – и не убежал. Ни мыслей, ни крика – один немой ужас.

Сколько я так простоял времени, не знаю. За спиной послышались шаги и голос отца: «Стасик, ты где пропал?». Я продолжал стоять молча, не отрывая глаз от трупов. Мне казалось, что стоит мне повернуться к ним спиной, как они тут же вскочат и схватят меня: ведь я был

из числа тех, кто убил их и они могли отомстить мне... Тёплая рука отца легла на плечо. Он увидел оба тела, меня среди них и всё понял. Медленно и ласково потянул меня из ужасной комнаты.

– Пойдём, пойдём, сынок отсюда. Не надо на них смотреть, не надо.

Я очнулся, отступил и вышел вместе с родителями из дома. Некоторое время шли молча, потрясённые. Сложные мысли и чувства требовали выхода и я спросил:

– Папа, а за что их убили? Кто их убил? Ведь они же не фашисты и не военные? А тётя совсем голая...

– За что, за что... А ты помнишь, что рассказывали нам на Украине и в Белоруссии о немцах? Ведь они там убивали всех: и стариков, и женщин, и детей. Никого не щадили. Они думали, что всех нас перебьют, а сами останутся целы и будут хозяевами на нашей земле... А вот не получилось. Мы их выгнали и сами пришли к их домам... Правда, они у нас зверствовали и нам не надо быть на них похожими. Нельзя быть похожими на зверей. Но ведь у наших солдат у многих погибли все их родные. Они ненавидят теперь всех немцев и хотят отомстить. Вот и мстят... Война, сын, очень страшная и жестокая, бесчеловечная вещь... Вот видишь, как тебе довелось её увидеть... Да ведь их не обязательно наши солдаты убить могли... А ну-ка, посмотри туда – что это там такое?

Там у стены стояло что-то такое, что немедленно погасило остатки страха и оторопи. Это было нечто блестящее на колёсиках. Колёсики прикреплялись к горизонтальной металлической миниатюрной платформе, а над ней возвышалась стойка с рулём. Руль был почти как у велосипеда изогнут, даже со звоночком и всё это производило потрясающее впечатление.

– А что это, пап?

– А это, сын, называется самокат.

– Как так «самокат»? Он, что ли, сам катится?

– Ну как, сам... Встанешь на него одной ногой, оттолкнёшься от земли другой – он и покажется, вместе с тобой.

– Ух! Вот здорово!.. А прокатиться на нём можно?

– М-м-м... Да, думаю, можно.

– Постойте, уважаемые товарищи, – вмешалась мама. – Вещь-то чужая. У неё ведь хозяева должны быть. Неважно, что она сейчас стоит безнадзорная. За ней же придут когда-нибудь.

– Когда придут, Муся? Кто придёт? Немцы? Они сюда больше никогда не вернуться. Это – не их земля, а, скорее всего, польская... Впрочем, ты, пожалуй, права... Давайте сделаем так: ты, Стас, катайся на самокате, пока. А когда мы поедем в другой город, то вернём его на место – сюда же. Это почти логично...

И вот это чудо детской техники и прогресса в моих руках. До него я катался только на санках и только с горы. Летом так же, как мои сверстники, гонял по улице велосипедный обруч при помощи проволочного прута, со специально загнутым крючком на конце. Гоняя, мы воображали себя едущими... А теперь я и в самом деле ехал. Да ещё как! Скорость от своего же толчка казалась очень большой, а инерции хватало очень надолго – колёса самоката были большими и на резиновых шинах. С восторгом в груди и огнём в глазах мчался я по отлично асфальтированной дороге и уже не помнил о лежащих в белом доме под красной черепичной крышей трупах...

Над Мезеритцем простиралось синее глубокое небо, словно отмытое какими-то высшими силами от копоти дыма пожаров и взрывов бомб, высокое, совершенно ослепительное, солнце и ощущение праздника. Обострялось оно и теми «демонстрациями», которые беспрепятственным потоком шли по шоссе, прямой линией пересекавшем городок. По обе стороны дороги ровными солдатскими шеренгами стояли высокие деревья, будто принимая проходящий под ними парад представителей всех стран Европы

Люди возвращались из германской неволи. Точнее было бы сказать из фашистской, но в то время понятия фашизм и Германия связаны были между собой неразрывно. Вольно возвращались люди. Мужчины и женщины разных возрастов. Разнообразно одетые. Некоторые даже в шляпах-котелках, вышедших из моды давным давно, и чуть ли не во фраках. Некоторые в отрепьях. Среди идущих выделялись и полосатые «пижамы» освобождённых из концлагерей. Все шли с максимально оптимистическим настроением. Когда мимо них проходили воинские подразделения или танки, им приветственно махали руками, встречали радостными криками на разных языках Европы и интернациональным «Гитлер капут!»

Многие несли на себе какие-то мешки и узлы, за плечами колыхались рюкзаки. В толпообразных колоннах кто толкал впереди себя, кто тащил за собой разнокалиберные тележки. Почти на каждой из них – маленький флажок той страны, которую представлял собой владелец «транспортного средства». На тележках тоже лежали сложенные вещи.

Толпы проходящих «репатриированных», как их тогда называли, скоро стали привычными, как неперемнная составляющая часть шоссе. Мы, многоопытные пацаны военных лет, близко к ним, на всякий случай, не подходили. Знали мы и кто они, и откуда, и что должны были пережить в немецких лагерях. Не знали одного: что это за вещи они несли и «везли» с собой и откуда эти вещи взялись?

Как всегда, когда возникали какие-нибудь совершенно непонятные для меня вопросы, связанные с политикой или военным делом, я потребовал ответа от отца, знающего всё на белом, или каком-либо другом, свете.

– Пап, скажи пожалуйста: а разве немцы в своих лагерях давали заключённым много вещей?

– А почему ты думаешь, что там давали вещи? Там ничего не давали, кроме плохой еды, заставляли много работать и убивали...

– Но откуда же у них так много всего? Мы вот не сидели в фашистских лагерях, ты – командир, а вещей у нас очень меньше, чем у тех, кого немцы мучили в своих страшных лагерях, а теперь наши их освободили... Ты хоть в форме, а мама наша всё время в одном чёрном халате ходит...

Отец в замешательстве потянулся к кисету с табаком. Какое-то время сосредоточенно скручивал «козью ногу», выскрёбывал из зажигалки огонь, пускал вокруг себя туманный дым... Видно было: мои вопросы требовали размышлений для толкового ответа, который сохранил бы в сыне добропорядочные чувства по отношению к освобождённым народам...

– Э-э-э... Наверное, купили где-нибудь в магазине...

– Значит, им денег давали в лагерях?

Результат размышлений оказался разбитым. Отец снова сосредоточил внимание на своей самокрутке, а мама не выдержала:

– Что ты, отец, всё крутишь? Ответь сыну прямо: наворовали вещи. Дома-то пустые вокруг: бери – не хочу, да и магазины, которые ещё остались от бомбёжек, все брошены и разбиты. А у людей же фашисты всё отняли – вот люди и компенсируют потери.

– Муся, наворовали – не то слово. Воруют у хозяев, а тут их вроде как и нет, хозяев-то.

– Ну, ладно, тем более. Не воровство, так мародёрство это ещё называется. Разницы особой не вижу.

– А есть ещё одно слово: трофеи. Победители берут то, что принадлежало противнику – таковы были всегда законы войны.

Слово, наконец-то, было найдено. Мать ещё что-то возражала: мол, тех, кто всю войну в лагерях просидел называть победителями как-то не совсем логично, но отец тут же возразил, что тогда они – жертвы войны и тем более можно оправдать их действия... На том и остановились.

Желание отца как-то повлиять на моё восприятие виденного понятно: я накрепко усвоил то, что именно немецкие фашисты – убийцы и грабители мирных жителей – преступники. А теперь перед моими глазами идут массы людей – жертв фашизма, которые тоже, судя по всему, несут с собой награбленное... В неразвитом ещё сознании мальчишки мог произойти очень пагубный сдвиг понятий честности и справедливости... Тем более, что и наши солдаты не оставались абсолютно безгрешными, войдя в «логово зверя». Мой старший брат, служивший некоторое время в разведке, рассказывал о некоторых своих товарищах: руки по локоть унизаны часами... Эти сплошные ремешки и браслеты с часами на голых руках под форменными гимнастёрками наших, советских, солдат никак не вязались в сознании с их светлым обликом освободителей людей от фашистских варваров – грабителей... Принцип «грабь награбленное» в то время ещё никоим образом не укладывался в моей неискушённой голове и не находил никакого оправдания. Главное, я не понимал: а зачем так много часов одному человеку?

Родители возмущались и сожалели о не слишком уж праведном поведении войска российского, но в то же время находили и объяснение его. Часы вообще, а наручные в частности, в предвоенное советское время были большой редкостью. «Трофейные» можно было подарить или продать: деньги в разорённой стране были очень не лишним подспорьем для порушенного хозяйства. Отец удивлялся: случаев мародёрства оказалось даже меньше, чем можно было предполагать. Расправ с мирным немецким населением тоже можно было ожидать в большем и частом количестве, но в русском человеке ненависти оказалось меньше, чем злобы в воспитанниках фюрера. Происходили и расправы, и вот это уже приходилось пресекать суровыми методами. Точно так же, как это случилось в России, когда немцы начали расстреливать и грабить мирных жителей, и в Германии люди могли уходить в леса и организовывать отряды сопротивления. А вот это уже было совершенно ни к чему. Командование воинских частей принимало жёсткие меры воздействия на чрезмерно усердствующих «мстителей».

27 сентября 1945 года маршал Жуков подписал особо секретный зашифрованный приказ под номером 42282/ш, с запрещением снятия с него копий, исполняющему обязанности командира 2-й гвардейской кавалеристской дивизии Мансурову, начальнику политического отдела корпуса Дробиленко, командирам 3-й и 17 гвардейских кавалеристских дивизий, начальникам их политических отделов, 2-й ударной армии и начальнику тыла группы Советских оккупационных войск в Германии. Приказ гласил: «Поступил сигнал о возмутительных фактах мародёрства, бесчинства, своеволия, допускаемых вашими подчинёнными. На острове Рюген и в других местах дислокации отмечены факты изъятия у населения скота, лошадей и повозок, домашнего имущества, из квартир увозят мебель. В Штральзунде две баржи загружены домашним имуществом для отправления к новому месту.

Военные коменданты, препятствующие этим фактам произвола, подвергаются оскорблениям, угрозам расправы, и одного помощника коменданта связали и бросили в кювет.

Всё это свидетельствует о том, что вы лично не хотите, видимо, поддержать должный порядок в районе дислокации частей, не боретесь по-настоящему за честь и достоинство гвардейцев, лично потакаете этим бесчинствам и своевольствам. Категорически предупреждаю лично вас, что, если не будут немедленно прекращены бесчинства и своевольства, вы будете отстранены от должности и сурово наказаны...

...Установить, что вывоз нетабельного имущества и предметов домашнего обихода может быть допущен только с письменного разрешения уполномоченного Военного совета полковника Бегутова и генерала Еншина... с санкции Военного совета или начальника тыла.

Начальнику тыла... установить с 26.09.1945 на всех переправах через реку Одер и проливы контрольные посты и всех самовольно и незаконно вывозящих имущество задерживать, имущество отбирать, – донося немедленно о виновниках Военному совету.

Личное имущество офицеров и генералов, входящее в перечень, предусмотренный постановлением ГКО от 9.06.1945 №903 б/с, досмотру и задержанию не подлежат».

Через месяц, однако, последовал другой приказ, тоже совершенно секретный и не подлежащий копированию. Адресован он был командующему 16 ВА, командующим родов войск, начальникам управлений группы и начальникам управлений комендантской службы.

«Ваши меры по борьбе с мародёрством и самоуправством неудовлетворительны.

Бесчинства не прекращаются, порядку и дисциплине в войсках требуется более настойчивых и жестоких мер командования...

По дорогам передислоцирующиеся войска передвигаются вне строя, огромное количество рядовых, сержантов и офицеров на велосипедах и мотоциклах.

Командиры частей и соединений не желают... наводить должного порядка в своих частях, нарушают дисциплину строя на марше, не интересуются, откуда подчинённые приобретают велосипеды, мотоциклы и на какую надобность нарочные самовольно покидают строй.

Факты говорят о следующем:

Только в города (так в тексте) ГАЛЛЕ с 20.08. по 10.08.45 г. была установлена кража 6 легковых автомашин и 27 велосипедов, и, кроме того, поступило в полицию 57 заявлений от немцев об отобрании на дорогах велосипедов...

Приказываю:

– Немедленно наведите должный порядок в колоннах на марше и в гарнизонах.

– Велосипеды от рядового и сержантского состава из пользования отобрать и хранить на складах, выдавая их владельцу только при демобилизации или убытии в отпуск...»

Немного странным выглядит второй пункт приказа. Из него следует, что отобранные и украденные у мирных немцев велосипеды не возвращаются владельцам, а остаются у тех, кто ими насильно или нечестно завладел, только хранятся на складах...

Бдительный СМЕРШ отмечал и другие случаи. Генерал-лейтенант С.Ф.Галаджев официально докладывал: «Некоторые военнослужащие дошли до того, что превратились в бандитов». У рядового Попова, из 350-го штурмового легкоартиллерийского полка особого назначения, занимающегося мародёрством, в карманах и за голенищами при обыске было обнаружено 4 бумажника, игральные карты, 4 000 оккупационных марок, 300 польских злотых, 2 пистолета, машинка для стрижки волос, 4 ножа, 1 золотая монета достоинством в 10 тысяч марок, 3 браслета, 11 золотых колец, 11 разных цепочек, 2 брошки. Под шинелью – кожаное пальто...

И был приказ, резко контрастирующий немецким на оккупированной нашей земле.

№0185 от 13 декабря 1945 года.

– «... В некоторых городах и районах Советской зоны оккупации Германии начальники гарнизонов и военные коменданты своим приказом ограничили время движения населения и этим создали затруднения для жителей этих населённых пунктов.

Приказываю:

Командующим армией, командирам отдельных соединений и частей, начальникам гарнизонов и военным комендантам городов и районов все приказы, ограничивающие передвижение населения по времени и впредь без моих указаний подобного рода распоряжений не отдавать».

Стасик жил вне каких бы то ни было приказов, кроме доброжелательных указаний родителей, часто оставаясь дома один...

Деревья около Мезеритца росли. Это совершенно точно. Возможно, в сумме они и составляли то, что в Германии называется лесом. Но то был особый – германский лес. В России это скопище растительности называли бы, скорее всего, парком. Можно, конечно, допустить неимоверную сознательную дисциплинированность немецких деревьев, растущих так, как это нравится населению: аккуратно, красиво и с дорожками для мирозерцательных прогулок.

Но вероятнее другое: там лес чистят, стригут, причёсывают, моют и благоустраивают так, как у нас в России и за парками не ухаживают. Поэтому, если в наших лесах длительное существование нерегулярных воинских соединений вполне реально, то в германских лесопарках немецко-фашистских партизанских отрядов не наблюдалось. Во всяком случае, вблизи Мезеритца о них слышно не было. Вместо партизан вокруг города бродили косули. Не прячась.

Это было удивительно и невероятно. За всю свою бессознательную и сознательную жизнь я видел свободно гуляющего оленя только один раз: в диких горах Кавказа. Случайно. Здесь же они добродушно и мирно пощипывали себе травку в пределах видимости из окон домов. Это – во время войны, представьте себе такое. Правда, следов боёв и разрушений в городе я не помню. Отсюда вывод: сильных сражений в нём не происходило. Но, всё-таки, война есть война. Самолёты скрежещут в небесах, бомбы из них падают и рвутся, а звук их разрывов очень далеко слышен. Танки по дорогам громяют... А косули спокойно и невозмутимо пасутся на зелёных лужайках неподалеку от всего этого грохота. Есть им хочется и во время войн. По всей видимости этим животным и в голову не приходило, что их могут как-то обидеть, а уж убить – такая чудовищность была просто сверх их воображения. Надо полагать, они были уверены, что будут жить вечно. И очень напрасно так думали.

Однажды утром, проснувшись, я не нашёл отца там, где он должен был находиться – за чаем на кухне: он его пил перед уходом на службу. Уже ушёл? Рановато, вроде бы. Выглянул в окно. Вон он. С каким-то сержантом идёт к дому. Оба соединены между собой жердью. Она продета сквозь связанные тонкие ноги красивого изящного животного светло-коричневой окраски. Беспомощно болталась голова с маленькими рожками. Неподвижно и с ужасом смотрели на меня огромные человеческие глаза... К трупам людей я как-то уже привык, а вот вид мёртвого тела красивого животного подействовал очень тяжело. Папа, заядлый охотник и рыбак, поохотился... Перед тем, как уйти на службу. Неподалеку от дома, где мы стояли на квартире. Взял карабин, прогулялся немножко и – вернулся с трофеем... Тушку разделали. Мама поблагодарила удачливого добытчика. Приготовила жаркое и суп... Есть ни то, ни другое мне не хотелось. Аппетитные на вид и на запах куски мяса никак не вязались с обликом красавицы косули, но всё же были её частью и жевать их казалось делом страшным... Но еду готовила мама. Отказаться от дела её рук – обидеть.

Жареного мяса мы поели, а вот супчик не удался. Маму подвело незнание свойств некоторых приправ, найденных в кухонном шкафу. От сбежавших хозяев остались кое – какие пряности. Стручки красного перца среди них. И вот мама то ли никогда таковым на родине не пользовалась из за отсутствия продукта, то ли успела позабыть его коварство, то ли это бы какой-то особенно злющий фашистский перец. Так или иначе, но запах от сваренного супа со свежим оленьим мясом был невероятно аппетитен и... остёр. Даже аромат. А уж сам суп... Если на свете существует жидкий огонь – то он находился как раз в той кастрюле. Есть супчик оказалось абсолютно невозможно. Папа мужественно пытался внушить себе, что мамино произведение не так уж и остро, но более трёх ложек преодолеть так и не смог при всём аппетите. Моего терпения хватило на две. Но и их оказалось достаточно для того, чтобы немедленно начать заливать вспыхнувший во рту очаг огня холодной водой. Пришедший отведать экзотическое блюдо брат оказался самым огнестойким – самоотверженно поглотил целую тарелку. После этого долго дышал открытым ртом, утирал струящиеся по красному лицу слёзы и вообще был похож на огнедышащего дракона. Только без огня. Мама была сильно смущена и огорчена. Но выход нашли – разбавили водой пожиже: не пропадать же вкуснятине.

А до косуль и оленей вскоре дошло, что если они и впредь продолжат доверчиво прогуливаться в окрестностях городка, то от них останутся ножки да рожки в буквальном смысле этих слов. Охотничьи страсти наших военных разгорелись неумно. Да их никто и не пытался унимать: не до того ведь – война ещё идёт. Уцелевшие животные разбежались кто куда, подальше...

Глава 5

Бой

*Квартиры на выбор. Трапезы на улице. пирожное с солью.
Рогатые русские. Склад. Бумажные фейерверки. Боевые действия.
Атака. Контратака. Оборона. Пулемёт против миномёта. Миротворцы.
Немцы – не патриоты?*

Семейные офицеры курсов поселились в одном квартале. Квартиры выбирали на свой вкус каждая семья. Кому какая приглянулась внешним видом или количеством комнат. Уникальные возможности. Дома из красно-бурого кирпича располагались буквой П, открытой стороной выходя на шоссе. В центре П площадь, выложенная гранитной брусчаткой, клумбы, немного травы. На эту площадь в свободное от сна, родительских наставлений, и, чуть позже, от детского садика для великовозрастных отпрысков, время выходили самые любопытные и проницательные представители «штатского состава» группы Советских оккупационных войск в Германии – всё те же Симка, Митька, я и недавно примкнувшие к нам ещё несколько пацанов откуда-то взявшихся детей офицеров. Жить в таких больших аккуратных и чистых домах после хатёнок было непривычно, но притерпелись и привыкли. Дома – вагоны сменились домами настоящими и уже надолго. Теперь, если возникала нужда в обществе себе подобных, мы стучали в дверь и спрашивали дома ли приятель, имея ввиду дом стоящий на тверди земной, а не на колёсах, и не едущий.

Привыкнув играть и шнырять по окрестностям в своей компании, мы и есть норовили сообща. Дома за столом на стульях не так вкусно и, главное, скучновато. Сговорившись устроить себе «обеденный перерыв» в своих крайне интересных занятиях, мои товарищи разбежались по домам и выходили с самым лакомым лакомством – ломтём ржаного хлеба, посыпанным солью или, если повезёт, сахарным песком... Ели во дворе все... Кроме меня. Отнюдь не потому, что я этого не хотел. Очень даже хотел. Но не ел. В буквальном смысле не так был воспитан... Мама, выросшая с детства в семье благородного воспитания, учившаяся в гимназии под высконравственным руководством классных дам, постоянно внушала мне: есть на улице – крайне неприлично. Еда у костра, в походном положении, неприличной не считалась: костёр – своего рода кухня или пикник, так сказать... Кстати сказать, мама терпеть не могла слова кушать, никогда не употребляла его сама и морщилась, когда слышала. Вот я и не ел на улице ничего, и не кушал. Пока однажды не взбунтовался:

– Мам! Ну, все ребята едят, мне тоже хочется, а они у меня спрашивают: у вас, что ли, хлеба дома нет?

– А ты, Стасик, мне не нукай, – строго взглянула мама. – Хлеб теперь, слава Богу, есть... Но я же сколько раз тебе говорила: культурные люди на улице, да ещё и на ходу, не едят... Это, знаешь ли, коровы пасутся на лугу и жвачку свою жуют, да лошади траву щиплют, а человек... Ладно уж, держи, – и она протянула мне полный кусок ржаного хлеба, не только посыпанный сахаром, но ещё и маслом намазанный – отец накануне паёк принёс. О, – это было верхом удовольствия – куда там нынешним пирожным. Я вышел на площадь чуть ли не с торжеством, но с опаской: а вдруг у других не будет масла на хлебе, – тогда получится, что я бяка – задавака. Масло оказалось у всех – пайки получил каждый офицер.

А вокруг всё было необычно и жгуче интересно. Мы только за город не выходили, поверив на слово своим родителям, что там бродят недобитые фашисты. Они и действительно где-то появлялись. Время от времени их отлавливали или они сами отлавливались с голодухи, и переправляли в лагеря военнопленных. Это были, так сказать, мирные немцы в военной

форме. Они не устраивали диверсий, не стреляли по нашим солдатам, а просто скрывались, на всякий случай. Наверное, плен для них оказывался благодеянием: в лесу, может быть, казалось безопаснее, но зато и голоднее – еду ни попросить, ни взять было не у кого. Её производители и хранители разбежались от страха перед нашествием ужасных русских солдат.

Страхи, с одной стороны, основания имели, а с другой вбивались в немецкие головы искусственно и намеренно. Официальная геббельсовская пропаганда рисовала в воображении, и без того уж припугнутого, населения жуткий образ советского солдата, не признающего ничего святого и в силу своего неверия ни к какому Богу, и потому ещё, что под каской на голове у него самые настоящие... «рОги» (немцы делали ударение на первом слоге), как и положено нечистой силе, да ещё и немойтой в европейских ваннах. Уже пообвыкнув и не видя со стороны русских очень уж жестоких выходок, немцы всерьёз просили внешним видом подобнее наших солдат снять пилотки показать чертячи «рОги». Солдаты смеялись, удивлялись и матюкались: надо же такое придумать про русских – дикари немцы. Леденили наивные души немецких обывателей и рассказы о насаженных на русские штыки младенцах, отнятых у живых ещё родителей. Подтверждались эти кошмары историческими свидетельствами о зверствах разъяренных казаков при взятии Варшавы армией Суворова во время польского восстания. Жесток с противником был великий полководец. Откликнулось через полтора года лет...

Ходить на экскурсии по брошенным квартирам вскоре надоело. Гораздо интереснее оказались немецкие военные склады. Огромные, открытые, они не особенно бдительно ещё охранялись. Если говорить о том, чего там только не было, то это русского оружия. Немецкое же содержалось в образцовом порядке.. Ящики с характерными ножами-штыками. Пулемёты. Металлические коробки с пулемётными лентами. Патроны. Цилиндрические футляры для противогазов. Сами противогазы – не такие, как наши: резина лишь на лице, а для головы ремни с пряжками. Фляжки в плотных шерстяных чехлах. Гранаты на длинных ручках... Ещё какие-то предметы, неясного назначения. Пластмассовые коричневые коробочки с белым порошком внутри... Всё мы тщательно исследовали и запомнили. Но неожиданно увлеклись совсем другим, не очень-то воинственным, занятием.

Непонятного назначения многочисленные цилиндрики из белой чистой бумаги заинтриговали своей загадочностью... Странная она была какая-то, эта бумага. Поначалу попробовали на трофее что-нибудь нарисовать – на то она и бумага. Не получилось: слишком мягкая да рыхлая. Решили: наверное, для чистки оружия... Попробовали. Тоже не выходит – рвётся, да и не виданное ли дело – оружие бумагой чистить. Кто-то уронил цилиндрик. Он покатился по полу, оставляя за собой белый след, как хвост ракеты... Ура! Так из этой штуки чудненький салютик можно сделать! Набрали охапку рулончиков, выскочили на улицу и принялись изо всех сил швырять их в воздух, как можно выше. Славненький фейерверк получился. Под восторженные вопли «ура!» Вскоре весь асфальт около склада покрылся ворохами белых бумажных полос.

Проходящие солдаты и офицеры путались в них ногами, отпинавали, ругались: «Что это за х... такая?» Никто не мог ни сказать, ни догадаться о назначении цилиндриков. Наконец, какой-то офицер, поглядев на наши «салюты» и произведённый хаос, крепко выругался, и приказал немедленно прекратить разбрасывать по территории воинской части бумагу для вытирания дерьма... Не известные нам рулончики оказались обычной туалетной бумагой. Обычной для немцев, но не для нас, понятия не имевших о таком использовании страшно дефицитной, даже для военных штабов, бумаги – это ж расточительство какое... Дома меня уличили в невежестве и мелком хулиганстве, узнав о подвигах с бумагой. Оба родителя ахнули. Не от сознания ужаса от того, что я подпортил внешний вид доблестного воинского подразделения, а за то, что не принёс свои «салюты» домой. Они, как я понял, о бумаге такой были когда-то где-то

наслышаны. На следующий день наша компания вновь встретилась возле того же склада. Каждый с «авоськой». Набив их до отказа рулончиками, потащили добычу по квартирам...

Словно замки на самой окраине городка возвышались в несколько этажей большие дома, сложенные из традиционного для тех мест тёмно-красного кирпича. Казармы. При немцах – фашистские. При русских – советские. Рядом с ними, и вдоль них, дорога. Она служила своего рода границей между городом и находящимся рядом с ним неким подобием деревни. Подобием не в смысле неказистости, а в сравнении с типично городскими постройками Мезеритца и с нашими, российскими, деревнями: это поселение больше было похоже на город. Дома в этом подобию были каменными, с нахлобученными черепичными крышами, с кокетливыми садочками вокруг и с асфальтовой дорогой. В деревне кто-то жил, почему-то не сбежав от наступающих страшных русских. Возможно, потому, что решили принять мученическую гибель свою от русских рогов под родимой кровлей.

Мы воспринимали это население, как немцев. Возможно, они немцами и были. Взрослые, как нам казалось, предпочитали не слишком уж часто появляться на глаза нашим солдатам. А вот ребятня аборигенная сновала по дороге безбоязненно и спокойно.

Чувствуя своё неоспоримое превосходство победителей, мы, пацаны, дерзко задирали их. Корчили рожи и издевательски кричали: «Гитлер капут!» Как ни странно, но и они отвечали тем же «гитлеркапутом», да ещё и смеялись нам в лицо. Это сейчас можно понять их так, что они соглашались: да, мол, Гитлеру действительно «капут», то есть – конец. Но в то время это воспринималось, как попытка нас подразнить. Вот с этим мы примириться не могли никак. И не примирялись.

В тот раз, в досталь накричавшись и наслушавшись в ответ надоевших слов о фюрере, который капут, кто-то из нас подобрал с земли глиняный крухоль и запустил им в стоящих по ту сторону дороги немчурят. Попал метко. Комок, отвердевший, как камень, угодил немчурёнку, видимо, в очень чувствительное место. Мы приветствовали удачу торжествующим воплем. Пострадавший поднял уже осколок кирпича и швырнул в нашу сторону. Никого не задел. Только рзозлил.

Ах, так: они ещё и кидаются! Все шестеро, составляющих наш отряд, бросились собирать камни и куски засохшей земли, как «огневые припасы». Беглый огонь по противнику открыли, встав в мужественные боевые стойки. Тот поначалу почти не отвечал. Опасался, вероятно, близости наших солдат: кто их знает, этих русских – вдруг стрелять начнут. Рогов под пилотками, вроде, не видать, но всё же... Солдаты заняты были своими делами вне пределов видимости и после нескольких удачных попаданий с нашей стороны немцы обрушили на нас ответные залпы. Камни засвистели с обеих сторон. Враждующие отскакивали и увёртывались, ойкали при попадании в себя и орали при ударе в противника. Силы были равны по количеству, но по другую от нас сторону дороги – там, где находился враг, находились какие-то канавы, похожие на окопы. В них немцы и укрылись. Эффективность нашего «огня» сразу резко понизилась. В тела попасть было невозможно, а головы вовремя прятались за брустверы. Мы же стояли на открытом месте, как на поле Бородинском.

Решение приняли быстрое и единственно правильное: противника из окопов выбить. Лихой атакой. Врукопашную! Даёшь! Вперёд! Ура! И мы помчались навстречу летящим камням. Эх, русского штыкового боя никакой враг выдержать не может. Штыков у нас, правда, не было, и мы шли напролом только с лихой решимостью, но хватило и этого. Немцы, популяв в нас остатками камней и своего мужества, не дожидаясь, когда мы ворвёмся в их окопы, выскочили из них и со скоростью, значительно превосходящей нашу, скрылись за домами деревни.

Полная победа! Не посрамили славу отцов. Мы с торжеством попрыгали на брустверах и... увидели, как со стороны немецкой деревни зловеще надвигается на нас отряд противника. Контратака. С поля боя враг, оказывается, не сбежал, потрясённый нашим мужеством и пре-

восходством, а тактически отступил для переформирования и привлечения дополнительных сил из резерва – привёл подкрепление. Состояло оно из ребят возрастом постарше, ростом и силой, соответственно, побольше: лет по двенадцать и более. Да и числом теперь противник нас превысил раза в два. Не оставалось ничего другого, как и нам отойти на «заранее подготовленные позиции», занять оборону.

Позицией оказалась какая-то стена возле здания, очень похожая на крепостную – имела зубцы и бойницы. Очень удобно для защиты и обстрела врагов подручным оружием. Опять огонь по врагу. Камни, крухли, палки, куски металла, что под руку попало. Трах! Запрыгал на одной ноге противник, поражённый в неё. Вот нашему товарищу досталось по лицу. Из временно расплющенного носа брызнула кровь. Рана! Бац! Отскочила от головы другого нашего воина суковатая палка. На голове вспухла здоровенная шишка. Контузия! Воин замотал ошеломлённой головой, восстанавливая ориентировку в пространстве и времени. Отряд нёс физический ущерб. Снарядов на нашу сторону летело больше, чем с нашей стороны в противоположную. Ещё бы – у них рук было больше, чем у нас, и боеприпасов, то есть камней вокруг, тоже. У нас же боезапас иссяк. Пробовали выломать камни из стен – не получилось. То ли кладка оказалась прочна, то ли руки слабы.

– А давайте их, гадов фашистских, из пулемёта! – воинственно крикнул Симка, размазывая по лицу боевой пот вместе с пылью. – Без оружия с ними не сладить – вон их сколько набежало.

– Давайте, ура! А где взять его? – спросил Серега, наш новый соратник в пропитанных боевой грязью штанишках, удивлённо вглядываясь в то, что стало с симкиным лицом после растирания на нём грязи. Серега худощав, но крепок, курнос, быстроглаз и решителен.

– Где, где – на складе вчерашнем! – решительно отвечивал Сёмка, прибавив к замаранной физиономии шлепок по собственному лбу.

Двое, поддёрнувши воинственно штаны, побежали к знакомому складу. Через несколько минут немецкий ручной пулемёт МГ на сошниках с готовностью выставил из бойницы в стене свой чёрный, невозмутимый и зловещий зрак. Лента с патронами деловито вошла куда нужно, заправленная чётко и уверенно, но почему-то капсюлем в канал ствола.

– Эй ты, недотёп Иваныч, – крикнул Сёмка, – ты что, позабыл где у тебя задница, а где наоборот, конец? Каким концом ты патроны вставил?

– Виноват, товарищ командир, исправлюсь, – ответил «недотёп», – это я от спешки.

– Не блох ловишь, – назидательно заметил Сёмка.

Ленту выгацили, перевернули, вставили как надо.

Каким-то образом недруги усмотрели, что мы вооружились и, не будь лыком шиты, решили сделать то же самое, или по своей инициативе. Сбегали куда-то и приволокли откуда-то небольшой миномёт и ящик с минами к нему... Судя по действиям с ним, немчура боевую технику знала не хуже нас. Во всяком случае, головку мины с её хвостом не перепутали бы и она полетела бы в нас нужной стороной. Какой-то парнишка в коротких штанишках шустро завертел колёсико наводки, другие подволокли ящики с минами поближе к миномёту, открыли их. Ещё немного и бой из холодного превратится в горячий.

Трофейные команды подобрать сумели далеко не всё оружие – лишь то, что лежало на самом виду. Вездесущие ребячьи глаза и руки доставали из самых неожиданных мест самые разнообразные орудия смертоубийств. Мы, вот, прямо со склада, а немцы – неведомо, для нас, откуда. Оружие несли у всех на виду и никто этому не только не удивлялся, но и вообще не обращал внимания – все давно привыкли и к тому, что таскает его с собой всяк, кому оно нужно для какой-то надобности. Вот и наши солдаты просто не заметили, что пацаны поволокли куда-то пулемёт. Эка невидаль – пускай позабавятся, небось, ещё и сломанный. Испорченные пулемёты, извините, нам были не нужны...

И вот приклад немецкого MG вжат в плечо. Ствол, примериваясь к открытию настоящего огня, хищно обводит своим мрачным дулом пространство перед собой, выбирая зону обстрела. Немцы поспешно протирают чем-то свои мины... Ещё несколько секунд и... И тут, словно сговорившись, с обеих воюющих сторон появились родители. Сначала с немецкой. От пинков и затрещин полетели в разные стороны и миномёт, и его «обслуга». Немецкие мамы хватали своих воинственных сынков за уши и в таком позорном виде потащили прочь. Мы злобно засмеялись: Ага! Струсили!

Чья-то рука вдруг взяла мою руку, с зажатой в ней пулемётной лентой. Повернув хохочущий рот вместе с головой, я увидел отца. И рядом маму.

– Воюете? – спросил отец. Добродушно спросил. И глаза не строгие. Мама даже улыбается снисходительно.

– Дерёмся, пап, – отвечаю, смеясь, но уже беззвучно.

– А пулемёт для устрашения противника, что ли?

– Вовсе и нет. Стрелять будем.

– Тр-р-р? – благодушно шутит отец.

– Почему это «тр-р-р»? – обижаюсь, изобразив боевую серьёзность: – По – настоящему. Вот у нас и патроны в ленте.

Благодушие отца в сторону. Отец хмурится, мама убрала улыбку. Через секунду металлическая лента выдернулась из моей руки. Пулемёт в руках у отца. Он передёрнул затвор, повертел стальное тело оружия в разные стороны.

– Вот чёрт! Действительно, пулемёт в порядке. Даже смазан... Откуда он у вас? Ну-ка, докладывай – где стащили?

– Ничего мы не стаскивали, скажешь тоже: что мы – воры, что ли? Мы его на складе взяли.

– А разве склад не охраняется? – не поверил папа.

– Охраняется. И часовой стоит. Только мы знаем одну маленькую дверку – она не запёртая и часового возле неё нету совсем.

– Ну, ребята, вы даёте... А зачем стрелять-то? Подрались на кулачках, да и ладно. Из пулемёта ведь и убить можно. Вы хоть это понимаете?

– Понимаем. Но они же фашисты, фрицы эти, и, вон, Петьку поранили до крови, – вмешался в разговор Сёмка..

– Ой, – оторопело вскрикнул папа, – откуда негритёнок у вас, пацаны? Из американской армии сбежал? На кого похож, милый?.. Да какие же они фашисты? Они мальчишки вроде вас. Им вы тоже, небось, кровянку пустили. Так и они вас поубивать должны?

– Должны, пап, не должны, а миномёт, вон, припёрли – погляди-ка на него.

Отец поглядел. Немецкий миномёт валялся на том же месте.

То, что и нас тоже могут убить, нам в голову почему-то не приходило... В кинофильмах убитыми оказывались преимущественно немцы. Вдоль дорог иногда встречались валяющиеся трупы, но и они тоже были немецкими. Из этого следовал вполне «логичный» вывод: если мы их победили, то и мёртвыми могут быть только они. А точнее – мы никаких выводов ни из чего не делали, потому что ни о каких убийствах и не думали. Просто хотели пострелять по «фрицам». Они все, от мала до велика и не взирая на пол, были «фрицами». Правда, чего греха таить, в воображении своём мы видели, как падают под пулями наши противники... Воображением всё и окончилось. Пули остались в патронах, обе стороны – в живых и относительно невредимых. Нас развели в разные стороны. Никогда позже во все годы в Германии никто из нас в дипломатические контакты с немецкими сверстниками не входил. Особых драк не случилось, но и дружбы не водилось никакой. Мы считали немцев врагами вплоть до возвращения на родину. Да и сейчас, когда и прежние страсти давно улеглись, и враждебное настроение растворилось во времени, а всё же при словах Германия, немец, фашист в подспудной глубине

души ржавой, но всё ещё колючей проволокой шевелится неприязненная память... Да как ей и не шевелиться.

Полвека спустя, Стасик, уже Станислав Николаевич, уже начальник управления по делам молодёжи при районной администрации, при встрече с делегацией немецких деятелей молодёжной политики задаст вполне естественный, для него, вопрос: «А какая у вас ведётся патриотическая работа с молодёжью?» Формула вопроса вызвала искреннее недоумение немца – немцы не поняли. Не перевод оказался непонятным, а сама суть вопроса. Пришлось разъяснить на примере наших усилий сохранить в памяти потомков все ужасы прошедшей войны и подвиги наших солдат. Разобравшись что к чему, глава делегации мгновенно, решительно и даже резко среагировал: нет у нас никакой такой патриотической работы, быть не может и не должно. «Зачем?» – спросил он недоумённо: – «Ведь война давно окончилась. Мы живём мирной жизнью и не хотим больше никаких войн...» Продолжать эту тему немец больше не захотел. А Станиславу Николаевичу подумалось, что Гитлер именно на патриотические чувства опираясь, как на надёжную опору, и поднялся к власти вполне законным и мирным путём, под восторженные вопли осчастливленных соотечественников... Искренне ли говорил тот лидер германской молодёжной политики? Может быть, он воспринял вопрос как провокацию? Ведь не так уж и давно в нашей стране всерьёз говорилось о реваншистских поползновениях Западной Германии... Заподозрить мог немец: скажи он, что у них тоже ведётся патриотическая работа на примере... А вот на каком примере, если Германия в XX веке вела только захватнические войны? Нет уж, лучше сказать, что нет там у них никакой патриотических поползновений. Да им и похвастаться нечем для поднятия патриотического духа – не хватило его у них для победы. Концлагеря, газовые камеры, миллионы убитых и тысячи разрушенных городов в начатой Германией мировой войне – слабенький повод для патриотизма. Вот если бы они победили...

Кстати сказать, был тот лидер молодёжной немецкой политики вполне почтенного возраста: или пред, или уже пенсионного... Не с ним ли скрестили мы палки и булыжники в Мезеритце и едва не перестреляли друга?

Глава 6

Беглый огонь победы

«Там Зою убили». Приказ поджигать. Берия против. Внезапная бомбёжка. Пулемёт вместо будильника. «Победа!» Русские песни. На банкет в ночных сорочках. Список посуды. Чёрный халат.

Один из немецких военных складов переоборудовали во временное подобие клуба. Располагалось подобие в глубоком подвале, было довольно обширно и вполне мрачно. Серые стены снаружи, серые стены внутри, серая лестница, ведущая вниз, такого же цвета потолок и, кажется, воздух тоже серый. Склад, одним словом. Возможно, и бомбоубежище, по совместительству. Можно было бы, наверно, подыскать более светлое и оптимистическое помещение где-нибудь в другом месте, но в воздухе продолжала действовать немецкая авиация. Особенно по ночам. А быть разбомбленным накануне победы, да ещё во время киносеанса, никому не хотелось. Поэтому и предпочли укрыться поглубже, на всякий случай.

Впоследствии довелось прочитать в одном из исследований, что гитлеровская авиация в последние дни войны бездействовала – не осталось горючего для моторов. Да, на германских аэродромах находились целёхонькие, почти или даже совсем новенькие, немецкие военные самолёты, стоящие в ряд, как на смотре перед парадом. Вид у них, действительно, был такой, словно они и в самом деле простояли на своих местах без употребления много времени. Но в конце апреля 1945 года на крышах домов вокруг расположения воинских частей в Мезеритце недоверчиво смотрели нацеленные в чужое небо зенитные пулемёты, а в окрестностях городка – зенитные орудия. Предосторожность вполне оправданная: с неба нередко зловеще и угрожающе прессовал землю гул невидимых в ночной слепоте самолётов: мы ещё живы, мы ещё повоюем, мы ещё убьём вас... Наши войска уже штурмовали Берлин, но враг продолжал огрызаться на всё, доступном обломкам его всё ещё острых клыков, пространстве.

Война, начатая Германией, превратилась в свою противоположность: теперь Россия стояла на пороге её столицы так же, как в 41-м году предвкушали близкую победу замерзающие гитлеровцы возле тёплых дверей Москвы. Столица России сжалась, ошетибилась, выставила навстречу тевтонам щиты и мечи, не потеряла мужества и надежды, и не только выстояла, но и вынудила отступить тех, кто уже имел на руках билеты на парад победы немецкой армии у стен московского кремля. Немцы тоже надеялись. Только уже на чудо. На обломки берлинских улиц текла человеческая кровь. Накануне первая – не до праздников. Но по какому-то поводу в бомбоубежечном «клубе» вдруг решили показать кино. Кино – чудо. В свои почтенные почти семь лет уже я умел читать, разбирать и собирать оружие, довольно сносно разбирался в нём, мог и пострелять, но кинофильма не видел ни одного. Предстоял первый в жизни киносеанс. Событие.

В клуб шествовали торжественно всей семьёй. Отец, как всегда, в форме с пистолетом на ремне, мама надела свой лучший, он же худший и единственный, многострадальный чёрный халат... Только в этом халате я её и помню в то время. По логике, у неё должна была быть ещё какая-нибудь верхняя одежда. Но логика логикой, а ничего другого на ней не замечалось. Служила она в штабе вольнонаёмной, а вольнонаёмным военная форма не полагалась. Я украшал планету, и себя на ней, короткими штанишками с двумя ляпочками, накинутыми на плечи; чулками, которые терпеть не мог, считая их сугубо девчачьей «формой одежды», и чём-то вроде сандалий на ногах. Обувка эта имела зловредное свойство вбирать в себя все мелкие острые камешки, попадавшие ей на дороге и даже те, что валялись в стороне, и пре-

больно колоть подошвы моих ног. Приходилось то и дело останавливаться, снимать, вытряхивать, и топтать дальше – до следующего камешка. Неприятное занятие это нарушало торжественность шествия, но настроения не сбивало.

Во всей красе двигаясь по вечерним улицам притихшего городка, мы беседовали об искусстве кино... Я задавал вопросы, а папа с мамой дуэтом на них пытались ответить. Главное, что они пытались мне внушить – это то, что происходящее на экране не нужно воспринимать, как события настоящие, и не пугаться, если что-то покажется страшным. Не пытаться скрыться, например, под скамейкой, если на экране появится паровоз, едущий «прямо на тебя», или танковые гусеницы, лязгающие над самой головой.

Детских фильмов в действующую армию, естественно, не привозили. Мы шли смотреть «Зою». С первых же кадров я забыл о предупреждениях своих благоразумных родителей, ощущая себя непосредственным участником всего, что видел перед собой на освещённом пространстве стены, с растянутым на ней экраном. Вот Зоя поджигает брёвна сарая, к ней крадётся немецкий солдат со страшным штыком и я кричу: «Зоя! Атака!! Сзади фриц!» На меня оглянулись, но быстро поняли в чём дело: я сидел с широко раскрытыми глазами, выставив перед собой сжатые кулаки.

Вот Зою ведут на допрос босиком по снегу. Она идёт, высоко и гордо подняв голову. Её белую ночную рубашку треплет ледяная зимняя вьюга, а девушка не обращает на это никакого внимания. Её конвоир ёжится в шинели, голова закутана в какое-то тряпье, пританцовывает на ходу, трясёт руками, проклиная русскую зиму. Я жалею изо всех сил нашу Зою и злорадствую насмешливо, глядя на ничтожного фрица... Вот фашист жжёт щёку девушки зажигалкой... Муки, допросы... Палач надевает на хрупкую нежную шею красивой девушки верёвочную петлю... Мама обнимает меня, чтобы успокоить, а я и не думаю плакать. Я ненавижу фашистов, убивающих партизанку, и жажду мести. Я чувствую себя мужчиной – воином и будь у меня в руках тот пулемёт, отобранный отцом, – немедленно пустил бы по киношным немцам хорошенькую очередь... Кино окончилось, загремели отодвигаемые скамейки, заговорили зрители...

Потрясённый увиденным, я какое-то время способен был только молчать, не отрывая глаз от уже погасшего экрана. Я всё ещё был там – в гуще событий. О том, что я только что видел не настоящую Зою Космодемьянскую, а всего только артистку, её игравшую, и речи не могло быть. Как это так – «играть»? Какая может быть игра в смерть?.. Ничего себе игрушечки у взрослых... И всё же я кое-чего не понял...

– Папа, а почему Зоя не хотела назвать своё настоящее имя и назвалась Таней? Какая немцам разница: Таня она или Зоя? Это разве военная тайна?

– Знаешь, сын, немцам совсем не нужно знать имена наших партизан по-настоящему. Лучше вообще никак не знать. Зоя же была партизанкой, можно сказать, партизанским солдатом, а имя солдата для врага – военная тайна.

– А если в том отряде была действительно какая-нибудь Таня? Ведь Зоя не могла знать имена всех партизан. Тогда получается, что она всё равно выдала кого-то из своих?.. А если бы она назвалась своим именем – её бы не повесили?

– Нет – всё равно бы повесили. Немцы казнили всех партизан.

– А наших солдат они тоже вешали, если они попадали в плен?

– Вот солдат не вешали... Потому что они – военнопленные. Военно, знаешь ли, пленные... А партизаны – не военно пленные... Понимаешь?.. Немцы считали их разбойниками и бандитами.

– Ну, пап, разбойники же плохие люди, а партизаны же против фашистов воюют – они хорошие.

– Так я же тебе и говорю, что это только немцы считали их бандитами... Ну и вопросец ты задал... – Отец потащил из кармана кисет с табаком. – Это, ведь, только для нас наши

партизаны хорошие, а для фашистов все, кто против них воюет, – очень даже плохие, потому что они их, фашистов, убивают. Понимаешь?

– Понимаю... Значит, если убить фашиста – это для него, немца, хорошо, потому что он перестает быть фашистом после этого... Пап, а пап, а почему Зоя поджигала дом в русской деревне – он же не немецкий?

– Ну, это не совсем дом был, а сарай. И в нём находилось немецкое что-то... Оружие... нет, кони, кажется... И он находился в деревне, которую захватили враги, а это значит, что деревня стала на какое-то время не русской и в ней прятались немцы.

– Ага. А потом она всё равно вернулась бы в русское. И в ней же русские люди жили, а...

– Да что ты всё спрашиваешь, да спрашиваешь? Кино тебе понравилось? – Не выдержал допроса отец.

– Нет.

– Почему же?

– Там Зою убили.

«Там Зою убили»... Стасика кино потрясло. Не столько даже тем, что впервые в жизни кино посмотрел, а тем, что в кино увидел. Перед ним не зверюшки нарисованные бегали, не сказочные герои совершали сказочные подвиги, а происходило то, что частично видел и он сам. Вокруг него сидели и смотрели фильм те, кто лично мог оказаться в похожей ситуации, и порой оказывался... Уже взрослому, прочитавшему множество книг о войне, художественных и документальных, ему далеко не всё оставалось ясно и понятно в той войне. Даже в подвиге Зои Космодемьянской.

Непонятно было: что это за партизанский отряд такой, бойцы которого занимались тем, что поджигали бревенчатые сараи в деревне, да ещё и под носом у немецких солдат? Почему именно сараи? Почему не поезда под откос пускали – классическое занятие партизан? Ведь деревня, где Зоя поджигала дом, хоть и находилась в расположении немецкой армии, но оставалась всё же русской деревней.. И в ней жили оставшиеся под немцами не по своей воле русские люди. Выходит, Зоя поджигала жилища своих соотечественников? Почему? Зачем? Сарай – не военный объект и лошадь – не танк. Да её из горящего сарая и вывести можно... И вот совершенно случайно выяснилось: это с какой стороны на сарай посмотреть. Если с точки зрения того, что зима в тот год выдалась необычайно морозной, а немцы не оказались готовыми даже и к куда более мягким температурам русской зимы, то все, оказавшиеся у немцев дома и сараи, становились объектами военными – в них отогревался и отдыхал противник...

Сколько раз говорилось о закономерности случайностей, и вот она проявилась, сработала, ещё раз. Уж если интересуешься историей войны – то случай найдёт повод подвернуться под руку. На этот раз он явился в виде книги Валерия Краснова «Неизвестный Жуков». В ней и обнаружился ответ на загадку.

17 ноября 1941 года Ставка Верховного Главнокомандующего отдала приказ под номером 0428 «О поджогах населённых пунктов». А уже 29 ноября военный совет Западного фронта докладывал Сталину «о принятых мерах по его выполнению». Их, естественно, немедленно приняли и пустили в ход после получения приказа.

Вот что это были за экстренные меры.

– «В дивизиях и полках приступили к формированию команд охотников, которые в большинстве уже ведут активную работу.

– На территорию, занятую противником, разведорганами направлены диверсионные группы, общим числом до 500 человек.

– Изготовлено и выделено частям индивидуальных зажигательных средств – термитные запалы, шары, цилиндры, пашки – общим числом 4300 единиц.

– Выдано свыше 100 000 бутылок с зажигательной смесью.

– Утверждены по каждой армии пункты, подлежащие сожжению и разрушению, и установлены задания, в связи с этим, родам войск (авиация, артиллерия, команды охотников, диверсионные и партизанские отряды),

За истекшее время сожжено и разрушено 398 населённых пунктов... Большинство пунктов сожжено и разрушено командами охотников и диверсионными группами...

Активная работа по поджогу населённых пунктов нанесла серьёзный ущерб немцам, о чём говорит следующий, перехваченный нами, приказ немецкого командования:

«Согласно сообщению 57 армейского корпуса установлено, что за последнее время во многих местах отдельными лицами и группами, проникающими через линию фронта, производятся систематические поджоги населённых пунктов.

Необходимо повысить контроль передвижения гражданского населения и усиливать охрану на местах расквартирования».

Прочтя этот доклад, подписанный Жуковым и Булганиным, Станислав вспомнил свои впечатления от первого в жизни увиденного кинофильма... И ему опять стало жутко. Цепочка сложилась: Зоя Космодемьянская, скорее всего, входила в состав одной из диверсионных групп или партизанских отрядов, получивших задание уничтожить «населённые пункты», занятые немцами... То есть, наши сёла и деревни. Цель: лишить немцев тёплого отдыха, заморозить их. Но ведь и наше мирное население лишалось того же. Если немцы оставались без тепла и крыши домов чужих, то наши люди лишались домов своих...

Шла борьба за выживание русской нации в целом. Ради этого пошли и на такой дикий, с точки зрения абстрактной, что ли, гуманности, шаг. Поимка и казнь Зои, казнь публичная, послужила немцам не только акцией устрашения, но и пропагандистской акцией: они тем самым показывали, что стоят «на защите домов» русского населения. Вскоре началось их провальное отступление и они принялись делать то же самое: уничтожать российские населённые пункты, чтобы теперь и наша армия промёрзала до костей. Прибавились очередные сотни или тысячи сожжённых сёл... Так наглядно выглядела тактика выжженной земли: её выжигали с обеих сторон и вполне успешно.

А вскоре в руки пришла ещё одна крайне любопытная книга сына страшного и таинственного злого гения Советского Союза «Мой отец Берия». В ней сын развенчанного и уничтоженного сталинского министра утверждает: отец был категорически против привлечения гражданского населения в партизанские отряды. Конечно, на этом основании можно навесить ему, к множеству уже навешанных, ещё одну собаку злодейку – антипатриотические настроения. Но его доводы очень серьёзны и справедливы. Лаврентий Берия настаивал на создании диверсионных групп и партизанских отрядов только из числа опытных сотрудников НКВД. Только от них следовало ожидать наиболее эффективной работы. Штатские же лица неумелы и неопытны. И поэтому обязательно станут жертвами возмездия немцев – их переловят и казнят прежде, чем они смогут сделать что-либо существенное в борьбе с ними. Причём не только сами окажутся жертвами, но и вызовут излишние репрессии немцев против мирного населения, при неоправданно низкой результативности своих диверсионных актов.

Пример Зои Космодемьянской – яркий и печальный тому пример. По инициативе Берия многие партизанские отряды создавались как раз из числа специально обученных чекистов. Вот они и уничтожали населённые пункты с успехом и минимальными для себя потерями.

– А если это был только сарай, то за почему Зою повесили?

Мама прислушивалась к нашему разговору, но предпочитала не вмешиваться. Сынок задавал вопросы не по-возрасту мудрёные, а ответов на них не имелось. А если и имелось, то такие, о которых лучше вслух не говорить. Лучше всего было бы отвлечь моё внимание на какую-нибудь другую тему.

– Ладно, хватит, стратеги военные, вопросы перемалывать. Давайте домой побыстрее пойдём, да решим что завтра делать будем. Ты, Стасик, чем думаешь заняться?

Ответить я не успел. Где-то не очень далеко глухо громыхнуло, под ногами дрогнула и как-то сместилась земля. Короткая тусклая вспышка взрыва на миг озарила темноту, проявив на фоне чёрного неба покорные силуэты домов.. Кино окончилось, начался настоящий налёт остатков немецкой воздушной армады. Остатки вполне реально завывали в пустоте дремучего неба характерным низким вибрирующим с небольшой амплитудой звуком. Унылым, будто им самим было страшно, и в то же время зловещим: Ю-87, «юнкерсы». Те, кто уже успел выйти на улицу, поспешно вернулись под толстый навесной козырёк «клуба» –бомбоубежища. Остатки остатками, конец войны – концом, но бомбёжка есть бомбёжка и к ней относиться легкомысленно – себе дороже. Но в душе, кроме опасения, преобладало возмущение: чего уж этим обречённым неймётся? Всё равно войну они проиграли, «Гитлер капут», – сдались бы себе тихо – мирно так нет, окаянные, хотят хоть напоследок повредничать. Сдвоенные взрывы опять тяжко колыхнули землю. Она, как живая, вздрагивала от боли, когда её плоть разрывали бомбы.

Офицеры закурили. Кто-то пошутил: «А ну, погасить окурки! Вы что – о светомаскировке забыли?» Шутка не получилась. Помолчали. Тишина вибрировала утробным гудением бомбардировщиков. Казалось, их становится всё больше и больше. Стоящий рядом с нами лётчик майор Глушкин, ладный мужик с вечно смеющимися глазами, пустил в небо струю дыма так, словно собирался сбить ею налётчиков, ругнулся и пробасил: «И откуда только берутся, сволочи? Уж, кажется, все их аэродромы разбили». «Кажется – перекрестись,» – ответили ему из мрака: «Вот они тебе сейчас сыпанут со своих «разбитых». И «сыпанули». Хорошо не на наши головы. Ноги ощутили дрожь поверхности земли. Её тело трепетало, так и не привыкнув за годы войны к ударам по себе. Бомбы впивались в неё где-то в километре от нас. Офицеры на слух пытались определить, на чьё расположение сброшены. Порассуждав и прикинув, сделали вывод: немецкие лётчики «охотятся» на косуль, ещё оставшихся от стрельбы по ним наших охотников – в темноте колошматят по лесам. Дров, в буквальном смысле, асы Геринга наломали, наверное, предостаточно и, притомившись, улетели.

По тёмной пустынной улице, оживляемой лишь патрулям, добрались до тёмной массы дома, ощупью поднялись по невидимым ступенькам на свой этаж...

– Ну вот и домой пришли, – сказала мама облегчённо. И тут же осеклась... – Домой... Это ведь просто так сказать: домой. А где он, наш дом?.. Далеко-далеко – так далеко, что и не представить. Когда-то воротимся в него? – вздохнула. – Этот дом только потому дом, что никак по-другому его не назовёшь и совсем он не наш. Как и всё здесь. Красиво, аккуратно, ухожено, удобно, а всё чужое... – Она неприязненно оглянулась по сторонам, будто видела сквозь стены всё окружающее пространство.

Ночь после бомбёжки повозилась, затихла и притворилась спокойной. Мне всё равно долго не спалось. Память восстанавливала фрагменты из кинофильма... Вот к лицу Зои фашист подносит зажжённую зажигалку... Ей страшно. Но она не отворачивается. Другой немец с ужасом и изумлением смотрит на неё – тоже человек... Человек ли? Разве способен человек так издеваться и мучить другого человека, да ещё и красивую девушку. Вот Зоя поджигает угол сарая... Это непонятно: почему поджигает, а не бросает гранату, как, по моему мнению, должен поступить партизан. Граната и дом разнесёт, и фашистов поубивает. А тут – поджог... Прислушиваюсь к тишине: не полетают ли опять немецкие самолёты... Нет. Тихо... Вспоминаю: папа рассказывал, что на фронте лучше спится когда где-нибудь раздаётся стрельба. Если она затихает – солдаты обеспокоено просыпаются: что бы это значило? Не готовят ли окаянные какую-нибудь пакость... Странно и не понятно: если стреляют – значит могут и убить, а люди спят. Перестают стрелять – угроза гибели временно отменяется – люди просыпаются... Но это с которой стороны стрелять перестают? Если с нашей, то, наверное, нет повода

стрелять – зачем попусту патроны тратить? Если со стороны немцев – а не потому ли, что в атаку собрались и не хотят собственной стрельбой своих же и перебить?.. А Зою, гады, повесили... Самих бы их на верёвку... Сон выключил все размышления, сомнения и вопросы...

Резкий и гулкий грохот крупнокалиберного зенитного пулемёта, установленного на крыше как раз над нашими головами, затряс и буквально подбросил нас с кроватей рано утром. Отец по старой солдатской привычке и сноровке моментально оказался одетым с ног до головы и с пистолетом на поясе, словно так и спал. Бледная мама сидела на кровати, неподвижными глазами глядя в окно, прижав к себе свой чёрный халат, как щит. Что делал я, в смысле каких-то физических движений, не помню, но не забыл ощущение острой тревоги, какого не испытывал за всю войну – до боли в груди и морозе в руках. Пока мы находились в Мезеритце наш пулемёт не стрелял ни разу. Не было повода. Значит – появился. Какой же? Опять налёт? Но не слышно ни гула самолётов, ни разрывов бомб. Пулемёт над головой бешено грохотал так, что с потолка сыпалась какая-то пыль. Судя по доносившимся звукам дикой стрельбы по всему городу, сошли с ума все средства и виды оружия. Казалось, палит всё существующее огнестрельное. Вот хлётко, резко и звонко ударили танковые пушки. На миг заложило уши. Вот задолбило что-то неведомое. Пулемёт на крыше гремел без пауз... Оружие орало, ревело, трещало, вопило, разрывало воздух и пространство, наши уши и души в клочья...

Что случилось? Должно быть, самое вероятное из невероятного – пробилась внезапно какая-то часть блуждающих немцев, ворвалась в город и начались уличные бои. Если бьёт пулемёт с нашего дома – значит, фрицы подобрались и к нам. Отец с пистолетом наголо осторожно выглянул в окно...

Посередине пустого двора на гранитной брусчатке, залитой очень ярким солнечным светом, стоял красноармеец, держал свой ППШ одной рукой над головой, садил из него вертикально в небо непрерывной очередью и при этом орал что-то, неразборчивое в рёве огня. Всё небо исчёркано пульсирующими следами трассирующих пуль и чёрными клочьями разрывов зенитных снарядов. «Что случилось?» – крикнул отец автоматчику. Но тот ничего не слышал за треском своего автомата и звоном собственного голоса, пока не кончились в диске патроны. В наступившем подобии тишины стало слышно:

– Победа-а-а!!! Побе-е-да!!! Ура-а-а!!! Побе-еда!!!

– Победа!.. – повернулся к нам отец. Лицо его было странным. Он одновременно улыбался радостной, почти детской, улыбкой, как может улыбаться ребёнок, получивший вожделенный подарок, которого давно ждал, но не верил, что в конце концов его обретёт. В то же время уголки его губ дёргались вниз, словно перед большим поачем. Улыбка всё же победила, стала уверенной и счастливой:

– Победа, родные мои! Победа! Конец войне. – Последние слова он произнёс с облегчением и негромко...

Мама закрыла лицо руками и заплакала. Я запрыгал по комнате, заскакал и порывался чуть ли не в окно выпрыгнуть. Отец, стоявший возле него, передёрнул ствол ТТ, выставил руку с ним в раскрытое окно и три выстрела в воздух присоединились к общему мощному хору, возвещавшему начало мира.

– Хочешь отсалютовать? – повернулось ко мне радостное лицо. Что за вопрос?! Конечно! И отец вложил в мою руку тёплую от его руки рукоять пистолета, обхватил сверху своей ладонью – у ТТ слишком сильная для семилетнего пацана отдача, – и мы вместе отсалютовали наступившему счастливому дню. Он тоже улыбался во весь свой солнечный рот, просто сиял от радости.

Потом было множество других салютов. Множество очень красивых и пышных фейерверков. Но то было потом. Организовано и церемонно. А этот, самый первый, импровизированный, всеобщий, ликующий, радостный, был самым искренним, самым сердечным из всех салютов Победы. Из стволов оружия вместе с пулями и раскатами беспорядочных выстрелов выходило в небо огромное напряжение воли, сжатой в тугий узел пружины, приводящей в действие силы тел и душевной энергии. Уходили волнения и боязнь за жизнь множества людей, попавших в безжалостный огневорот войны. Казалось, к смерти волей-неволей привыкли за годы, когда страх, сопровождавший её, властвовал над пространствами стран и над жизнью, но теперь цена жизни вновь поднялась и осозналась с ещё большей остротой.

По иному начал выглядеть и пейзаж чужой страны. Он перестал казаться военным объектом, из которого в любой момент могут раздаться роковые выстрелы. Стал мирным, покладистым и даже красивым. Теперь перед закатом солнца, после службы, у моих родителей появилась склонность к созерцательным прогулкам – своего рода туристическим экскурсиям по окрестностям городка. Естественно, гулять отправлялись все втроём. Далеко от домов не отходили, опасаясь мин – не все из них были обнаружены и обезврежены. Нередко сапёры просто обозначали место, где найдена немецкая мина немецкими же знаками: жёлтым треугольным флажком с надписью «Achtung! Minen!» чёрного цвета на стержне из толстой стальной проволоки, изогнутой под прямым углом у вершины. С этой перекладины флажок и свисал. Иногда ещё и череп с костями глядел на прохожих зловещими глазницами. Мы осторожно обходили помеченное место, думая при этом: а что, если рядом скрывается ещё одна, особенно искусно спрятанный смертельный сюрприз?.. Отец смеялся: наши сапёры – народ тщательный. «А немецкие минёры – хитрый», – возражали мы ему: «Вчера подорвались же два солдата из соседней части?.. А ведь тоже шли по разминированному полю...»

В дома больше не заходили – опасались ещё раз наткнуться на трупы. О тех, виденных несколько дней назад, время от времени вспоминали: кем они были и что произошло? Отец предполагал так: женщина была очень красивой и кому-то из ворвавшихся в дом мародёров или солдат захотелось попользоваться ею, как законной добычей – трофеем победителя. Набросился, содрал одежду или под оружием заставил раздеться самой. Старик, вероятно, приходился ей дедом. Наверное, больным – из за него она и осталась, не захотев бросить одного. Дед за неё мог вступиться. Его застрелили. Её изнасиловали, а потом издевательски прикончили. Результат – два мёртвых тела. Это – вариант романтический. Но всё могло произойти гораздо проще и страшнее... Хотя что уж может быть страшнее смерти.

Городок оказался окружён мелкими огородами и садами. Правда, слово огород означало не совсем то, к чему мы привыкли – то место, где были посажены овощи, не имело никакого ограждения и, таким образом, собственно огородом являться не могло. Просто на аккуратных грядках росла всевозможная зелень, открытая со всех сторон взорам и доступам. Там я впервые попробовал нечто, внешне очень похожее на лопух. За лопух это растение и принял, удивившись: почему он на грядках растёт? Отец разъяснил: не лопухи это, а ревень. Очень полезный и очень съедобный продукт. Я с недоверием сорвал съедобное растение, осторожно оторвал зубами кусок большого листа, пожевал и выплюнул. Съедобность, на мой вкус, оказалась очень сомнительной.

– Ну, пап, и гады они – эти фрицы! Такую невкуснятину жрут. Тьфу!

Отец расхохотался.

– Да ты, Стасик, не то совсем ешь! У ревеня едят не листья, а стебли. Давай-ка, я тебе очищу.

Отец с хрустом отломил толстый и сочный стебель «лопуха», оторвал от него огромный лист и тщательно очистил оставшуюся часть растения от наружных волокон. Протянул мне. Вкус оказался непривычным, но довольно приятным. Ни к каким деликатесам ребятня военных лет, а особенно в воинских эшелонах, привычна не была. Самое вкусное, что мы поедали

летом – паслён. Черновато-сизый и своеобразно сладкий. Ели мы ещё пастушьи сумки. Впервые услышав это название, я не сразу понял: почему сумка, да ещё и пастушья? Опытные «кулинары» украинцы объяснили: «А ты побачь, москаль, – ось воны яки в сумке пирожки да паляныци» Я «побачил». И действительно: в маленькой изящной сумочке на тоненьком стебелёчке нанизаны были микроскопические, разной формы и цвета комочки. Немного воображения – и они превращались и в булочки, и в пирожки, и в калачи, и во что угодно. Мы всё это ели и хвастались друг перед другом, у кого еда вкуснее... Впоследствии, спустя много лет, я узнал, что тот самый паслён, считавшийся нашей компанией самой вкусной ягодой, – сильнейший яд... Либо у нас развился мощный иммунитет, либо паслён оказался не тем, либо Бог нас хранил, но никто из нас не пострадал никоим образом и ни в малейшей степени. Ревень показался мне едой просто королевской... Правда, настоящей королевской еды тоже никогда отведать не приходилось.

Ревень, прохлада майского вечера, тёмно-зелёные огородные заросли, странные силуэты иноземных домов на фоне оранжевого заката и мамин голос... Он у неё был очень хорош. Глубокий, сильный, красивый. Он взлетел ввысь, поднялся над чужой землёй, как волжская чайка, распластав крылья, разнёсся эхом, отразившись от молчаливых стен немецких домов. Хмуро и недоверчиво слушали они русские песни: какие степи, что значит раздольные?... Слушала германская земля, отправившая своих сынов под барабанный бой и бравые строевые песни завоёвывать землю русскую. Не удалось им прогреметь победно над нашими реками. «Эх ты, степь широкая, степь раздольная. Ах ты, Волга – матушка, Волга вольная», выводила мама. Зазвенело над немецкими педантичными усадьбами:

«Из страны, страны далёкой,
С Волги – матушки широкой,
Ради славного труда,
Ради вольности весёлой
Собралися мы сюда.
Вспомним горы, вспомним доли,
Наши храмы, наши сёлы,
И в стране, стране чужой
Мы пируем пир весёлый
И за родину мы пьём».

Её сменила «Не шуми ты, рожь, спелым колосом». Потом раздался «Вечерний звон». Затем полетел над красными черепичными крышами «Запорижець Стэнько...»

Все эти песни я уже давно знал и любил. Но здесь они звучали совсем по особенному. В них появился более глубокий смысл. В мамином голосе слышалась и грусть о далёкой теперь родине, и об оставленных родственниках и друзьях, и радость того, что всё пережитое было не напрасно – мы вошли в Германию с теми, кто одолел её злобную силу своей доброй силой. И теперь наши песни заполняют пространство над той землёй, откуда ринулось на нас вражеское нашествие, пытавшееся петать на берегу нашей русской реки «Wolga, Wolga, Mutter Wolga...» Но река послала их к совершенно другой матери, а Волга словно разлилась перед нашими глазами непосредственно здесь – в Мезеритце... Волгу я совершенно не помнил, но она представлялась мне необычайной, сказочно красивой рекой с тёмно синей водой и белыми кораблями. Почему-то с парусами. Наверное, потому, что белые паруса казались мне воплощением красоты...

Мама любила лирические напевные мелодичные песни. Русские и украинские. Пела не часто, но с окончанием войны вдохновение её утроилось и я с удовольствием слушал, как и что она поёт. Запоминал легко потому, что они становились частью моей души. До сих пор

её исполнение для меня – эталон. Если не по мастерству, то по искренности и особой русской певучести. Впрочем, мама рассказывала, что её приглашали учиться в консерватории. Рекомендовал стать актрисой знаменитый Соболевский – Самарин. Но она предпочла стать учительницей, иногда сожалея об этом... Лишь иногда. Но глубоко.

Между тем по русскому обычаю приходило время победу хорошенько отметить официально. Собственно, время уже пришло – сразу же после известия об окончании войны. Конечно, и выпивали, и пили, и напивались чисто по-русски. Но не в массовом порядке – армия, всё-таки. Отец вообще исключался из пьяной среды. Никогда даже выпившим, не то что пьяным, никто его не видел. И вовсе не потому, что в таком состоянии он никому не попадался на глаза. Он просто не пьянствовал. Брат такой выдержкой не отличался, но и он не рисковал появляться у нас с нарушениями координации движений или чего-нибудь другого. Могучей сдерживающей силой являлась мама. Отцовских вожделий сдерживать и не приходилось в виду явного их отсутствия, а вот Юре попадало, случалось. Но он и находился вдали от облагораживающего родительского влияния. – в солдатских казармах...

Высшее командование части определило, наконец, время офицерского банкета и бала, и место. Особых сложностей с подбором костюма не возникло только у отца: парадная форма одежды и отполированные до зеркалоподобия сапоги. Мама страдала. Чёрный цвет любимого халата к празднику как-то не подходил, но иной одежды не имелось. Так в нём и явила себя сверкающему золотом погон, наградами и улыбками офицерскому обществу. Я о своём внешнем виде не заботился и не переживал совершенно. Отнюдь не потому, что олицетворял совершенство, а потому, что не обращал внимания на свой внешний вид. Он представлял собой страдальческое от мучительной стрижки волос, при помощи ручной машинки и дилетантских усилий папы, лицо, неопределённого цвета рубашку, заправленную в короткие штанишки, и ноги, обутые во всё те же любимые сандалии – не босиком же приходиться.

Зал ослепил ярчайшим светом электрических ламп в невиданной роскоши люстр, торжественно и, казалось надменно, свисавших с потолка. Накрытые белыми скатертями столы, множество сверкающей посуды. За столами – офицеры. Все оживлены, переглядываются, здороваются, весёлый шум, громкие приветствия через весь зал... Папа торжественно восседает при полном параде и в орденах, мамин халат украшен белой брошкой в виде цветка розы. Пора начинать, но как в таких случаях, почему-то всё никак не начинают. Всеобщее нетерпение, руки всё труднее удержать от их стремления к бутылкам. Уже выучены наизусть все их этикетки... И вдруг всё стихло.

В зал не спеша и с достоинством вошли женщины необычайной, и даже сверхъестественной, красоты... Как мне показалось. Жёны офицеров. На них переливались нежными цветами до полу длинные платья с очень смелыми, не только по тогдашним, но и по нынешним временам, декольте. Бюстгальтеров ниже него, судя по внешним признакам, не имелось. Дамы, чуть смущаясь, но с торжественной важностью шествовали по направлению к столикам, где сидели окаменевшие от изумления и восхищения их мужья, не говоря о других представителях мужского пола, потрясённых неопределимо. По краям глубоких вырезов колыхались кружева и какие-то цветочки из нежнейшей, даже на внешний вид, материи. Тоненькие бретельки лишь чисто символически поддерживали сказочные одеяния женщин, похожих то ли на фей, то ли на принцесс со старинных иллюстраций.

На женщин, пусть даже из ряда вон выходящей неотразимости и соблазнительности, я в те времена внимания ещё не обращал. И бравировал этим: для настоящего мужчины «первым делом самолёты», а девушки потом или вовсе никогда. Мама сидела напротив меня и я, увидев выражение её лица, невольно обернулся посмотреть: что же так удивило, а потом и рассмешило, её? У мамы сначала взлетели брови чуть не до волос. Она пристально всмотрелась в полупрозрачные одеяния дам. Сквозь них просвечивали синие и белые, почти до колен,

труссы. Потом прыснула смехом, не разжимая губ и сморщив их в с трудом преодолимом желании расхохотаться, глядя на «принцесс» со смешанным выражением иронии и печальной жалости. Отец досадливо чертыхнулся:

– Вот чёрт! Хоть бы спросили, что ли, кого-нибудь, что это за барахло... Ведь не видели, небось, никогда ничего подобного и вообразили себе...

В зале после произведённого эффекта у одних и шока у других послышались сдержанные смешки. Женщины, ничего не подозревая, подходили к мужьям, уж не зная, что и делать. Женились они во время войны на симпатичных девушках из сёл и деревень, где временно находились курсы, и где отродясь никто не видывал презренных «буржуйских» одёжек. Покопавшись в брошенном хозяевами бельишке, женщины выбрали себе то, что им показалось вечерними бальными платьями, и что на самом деле было ни чем иным, как... ночными сорочками. Им и в голову не могло придти, что такая красота предназначена для того, чтобы в ней лечь спать – под одеялом-то всё равно не видно, да ещё и в темноте... Таковую-то красоту – и не показывать? Не может того быть. Всеобщая, кроме виновниц её, неловкость. Никто открыто не смеялся – понимали: откуда, в самом деле, было знать этим девчонкам из глухих деревень предназначение тех или иных предметов туалета западных обывателей...

Опомнившись, кто-то из офицеров подошёл к несчастным мужьям, что-то сказал им, те встали и под руки повели своих недоумевающих жён к выходу...

Мама время от времени вспоминала об этом досадном и комическом эпизоде, но никогда не смеялась. Стыдно было не за тех, кто по незнанию надел на себя неприличествующую случаю одежду. Досадно было за невежество, царившее там, откуда они пришли. Вспоминала слова одного из героев – интеллигентов классической советской пьесы, который с сарказмом сказал об эмигрирующей из революционной России торговке: «Дунька едет в Европу...»

Ляпы от невежества происходили и впредь, по разным поводам. Глухая изолированность страны была ей виной. Граждане России, изуродованной революцией 17-го года увидели Запад только благодаря войне, как дико это ни звучит: «благодаря войне»... Обошлись бы наши девчонки и без войны, и без ночных сорочек на офицерском балу. А после своего ухода они где-то переоделись в обычные женские платья русского покроя и оказались ещё симпатичнее.

Теперь не только писателя Василя Быкова пытаются уличить в «очернительстве» нашей победы. Находятся люди, ровесники фронтовиков, но ни когда не видевшие ни настоящих боёв, ни фронтовой жизни, ни Германии весной 1945 года, протестующие против любой правды, кажущейся им искажением потому, что не совпадает с родной им пропагандистской картиной событий. Очень жаль, что Николаю Александровичу Козлову не довелось продолжить свои записки. Они прервались как раз на Мезеритце. Сохранился лишь план того, о чём он собирался рассказать.

Вот он. «Шум на чугунных шпалах. Небрежность светомаскировки. Чувствуется близкий конец войны. Швибус. Старуха немка. Брошенные дома. Мы отправляемся с попутными машинами в Мезеритц. Дороги. Населённые пункты со стандартными дымоходами через крыши. Мезеритц. Военный городок. Барахольство. Бой ребятишек. Колонны повозок освобождённых народов с флажками. Песнь старика. Бои на Оudere. Бурная ночь. Победа! Глускин развивает энергичную деятельность. Список посуды на чердаке. Быхомов обедает. Как „очищали“ квартиры для штаба». Скупые слова, большое содержание, теперь навсегда остающееся неизвестным.

Правда не может быть очернительством. Правда не может и принизить никакой подвиг. И то, и другое – удел лжи. Даже в том случае, если она приукрашивает – лакирует, как тогда говорили. О пагубности лакировки действительности войны говорил в своё время и Г.К.Жуков.

И барахольщики, и «барахольство», как выразился отец Станислава, место быть имело, выражаясь казённым языком. И это имело основание и причины: изобилие брошенных на произвол судьбы вещей и откровенная бедность наших людей, одетых и не одетых в военную форму. У многих солдат не было часов, а этого добра и в пустых квартирах, и на телах убитых немецких солдат имелось предостаточно. Советских военнослужащих размещали не в палатках, а в квартирах. В них оставалась мебель, посуда...

Кстати, о посуде... При чтении отцовского плана вспомнилась история, которую отец отметил названием «Быхомов обедает». Что это за «список посуды на чердаке» я уже не помню, но вот о процедуре обеда коллеги отец рассказывал не раз.

Офицер Быхомов, с другом, поселился в одной из пустующих квартир. Как ни странно, в водопроводе имелась вода. Но только холодная. Офицеры весь день заняты на службе. Выходные дни – редкость и посвящались они если не экскурсиям по городу, то пассивному отдыху. И в него никак не вписывалась процедура мытья посуды. Еду брали в столовой и разогревали на плите. Немцы – народ прагматичный: плиты свои кухонные делали двойными. Половина электрическая, половина-печка для дров или угля. (Неплохая была бы идея и при нашей нынешней жизни...) «Дрова» здесь же в квартире – мебель. И – немерянное количество самой разнообразной посуды. Часто совершенно неизвестного предназначения. (Как и ночные сорочки...) Возможно, это обстоятельство и подвигло нашего Быхомова на составление какого-то списка посуды, сложенной зачем-то на чердаке. Но – это его, теперь уж совершенно загадочное и непостижимое, дело.

Так вот. Наши друзья никаким таким мытьём посуды себя не утруждали. Всё совершалось гениально просто: с чердака в квартиру спускалось максимально возможное количество тарелок и инструментов для их опустошения при поглощении еды. Опустошив, тарелки просто перекладывали в стопу посуды грязной, а при нужде брали посуду из стопы посуды чистой. Вот вам экономия драгоценного времени и воды. Посуду экономить надобности не имелось. Когда грязная стопа увеличивалась чрезмерно – её, ничтоже сумняшеся, просто и небрежно выбрасывали из окна на улицу. На её место приносились чистые тарелки и иные ёмкости... Посуды на чердаки хватало бы доблестному офицеру на много месяцев. Осколков её – на много часов уборки и ругани будущим дворникам, временно отсутствовавшим.

Но это – частный, безобидный и почти забавный эпизод. Один из многих, гораздо более серьёзных. С точки зрения законности и морали, солдаты, мародёрствуя, вели себя в «логове зверя», конечно, очень недостойно. Но нельзя забывать при этом, не в оправдание а для понимания, о том, что они самоотверженно сражались с теми, кто разорил их жилища, убил их родных, что они имеют правительственные награды за мужество, храбрость и доблесть в боях... Необходимо учесть и то, что советская пропаганда с благородным негодованием упорно и настойчиво отождествляла с фашизмом всю Германию, всех немцев: если германское – значит фашистское, если немец – непременно фашист. Наши солдаты мстили за кровь, за разграбленные и уничтоженные дома свои. Многим из них после войны просто некуда было идти... Они искренне недоумевали: немцы пожгли наши дома, убили семьи, а мы должны к ним хорошо относиться? Это казалось несправедливым и странным. Войдя с боями в Германию, наши солдаты с удивлением увидели: немецкие варвары и звери фашистские живут в гораздо более комфортабельных условиях и более зажиточно, чем они – победители. Перед ними предстали не только политические фашисты, но и классовые враги – буржуи. Эти обстоятельства только увеличили ненависть и разожгли те дремавшие инстинкты, за которые им же и пришлось расплачиваться.

Маршал Жуков вынужден был пойти даже на публичные казни мародёрствующих. Жестокие меры отрезвили: кто-то одумался, некоторые испугались. Но больше было тех,

к кому суровы методы не имели никакого отношения – они сохраняли и честь свою, и достоинство, не нисходя до увлечения «коллекционированием» чужих вещей.

Вездесущий, зоркий и очень бдительный НКВД отмечал почти полное отсутствие грабежей и насилия во время войны. Мысли и дела заняты были одной целью – победить. Потом сработал инстинкт победителя и здравый смысл прагматика: сделать себе запас на случай прихода очередных невзгод и лишений... Стоявший на страже морального облика советских воинов НКВД зафиксировал и это, донося куда следует: некоторые командиры не принимают никаких мер для прекращения мародёрства, а иногда и поощряют его.

Вчитываясь в приказы Жукова, можно отметить любопытную деталь: речь идёт о незаконном вывозе имущества... Значит, был и законный? Да, был. В конце концов, чтобы ввести «своевольное изъятие вещей у немецкого населения» или проще – грабёж, в законные рамки, было принято решение разрешить офицерам брать некоторые вещи в своё пользование – с письменного согласия командования. И офицеры брали. Многие – не ограничивая себя количеством. Вряд ли это справедливо называть грабежом и мародёрством – по моральным меркам того времени. Но как это ни называй, и как ни относись, но это – были действия победителей, заплативших кровью своей за победу. И они же «очерняли» её?..

А мама наша так и оставалась в своём неизменном халате. В тех квартирах, которые выделялись нам для временного поселения квартирными, было множество вещей и одежды. Мама брезговала ими. Её халат мог бы стать семейной реликвией или даже музейным экспонатом, если бы не затерялся во время одного из переездов. Теперь его можно увидеть только на фотоснимке, где мы запечатлены на память потомкам вчетвером: папа, мама, брат Юрий и я на переднем плане. С недовольной рожей. Недовольство вызвано тем, что мне очень не хотелось терять время на какое-то фотографирование, когда мои товарищи в это время отправлялись на поиски неизвестного ещё склада с незнакомыми нам, почему-то, системами немецкого оружия. А папа в момент съёмки щекотал мой затылок пальцами, надеясь рассмешить. А я, вот, наоборот, скорчил недовольную мину, не понимая своего счастья: живые папа, мама, брат... Казалось – так будет вечно. Но это было уже в Штеттине.

Глава 7

Карикатуры на Гитлера

*Уникальная карта. Пустота. Гнёзда для флагов и пропаганда.
Тёмный круг на красном флаге. Смена символов. Каштаны и персики.
Экскурсии по квартирам. Карикатуры на Гитлера. Книга с задницей.
Рискованные прыжки. Страшная саранча. Насильник.
Огонь по своим. Цена победы. Взрыв. Убийство офицера. Война
с Польшей. Штурм Брестской крепости. Пленные поляки.
Первая конфета. Бой с пауком. Бассейны. Монашки. Море. Старая карта.*

Поляки называли его Щецин. Гитлеровцы переименовали в Штеттин. При вступлении в него наших частей в 1945 году он ещё оставался Штеттином – так его в своём повествовании я и буду называть.

Штеттин очень отличался от Мезеритца. Тот был чем-то вроде наших районных центров: небольшой, уютный. В нём даже на улице не покидало ощущение того, что находишься внутри некоего дома, аккуратного и ухоженного. По существу он и был большим домом, только без крыши над головой. Штеттин выглядел солидным деловым кабинетом огромных размеров, одновременно колоссальным заводом, культурным центром, военным объектом и ещё бог его знает чем. Кажется, в этом городе было всё, что могло измыслить и соорудить немецкое человечество. Мне почему-то больше запомнились строгие прямоугольники профилей домов и видом сверху, и видом сбоку, светло-серые мундиры кубов и параллелепипедов зданий с ровными рядами окон-пуговиц. Всё выстроено в ровные шеренги вдоль прямых и ровных улиц. Довольно широких, в отличие от других немецких городов того времени. Мама первой обратила внимание на сдавленность пространств между сторонами германских улиц. Мне же они показались вполне широкими. Видимо, потому, что в России я видел крупные города преимущественно в развалинах, а в небольших ширина улиц не слишком отличалась от немецких. Маме же было неприятно:

– Будто в прессе находишься – давит со всех сторон... Вот у нас – широта и простор, светло, идёшь свободно и душа радуется...

Может быть, чувство зажатости вызвано было и высотой зданий: при равной ширине улиц уже кажутся те, где выше дома – в них меньше света, воздуха и простора. Имелась у Штеттина с Мезеритцем и общая черта: оба города были абсолютно свободны от мирных жителей. Дома там и здесь стояли пустыми, осиротевшими и откровенно печальными. По улицам, от лёгкого ветра кажущиеся живыми, перепархивали с места на место, летали и катались листочки бумажек всевозможного цвета и формата. Валялись клочки и обрывки чего-то пёстрого. Тряпьё... Барахло... Выходящие на улицу двери раскрыты... Входные двери расположены именно со стороны улицы, а не со двора, как у нас. По обе стороны каждой – металлические гнёзда для флагов, одного, двух, трёх...

Можно было себе представить, как выглядела улица, когда в них вставлялись флагштоки с красными флагами и белыми кругами посередине. Гитлер придавал внешнему блеску пропаганды очень большое, гипнотизирующее, значение. Флаги рейха, несомненно, были неотъемлемой её частью – они влияли на эмоции масс: «пропаганда вечно должна обращаться только к массе», утверждал фюрер, топорща чаплинские усики и делая удавы глаза. «Она должна воздействовать больше на чувства и лишь в очень небольшой степени на так называемый разум», – вещал он в своём программном труде «Mein Kampf». В этой же книге фюрер изложил инте-

ресные причины того, что для воздействия на так называемый разум высшей расы человечества он выбрал именно красный цвет: «Мы сознательно выбрали красный цвет... Этот цвет больше всего подзадоривает. Кроме того выбор нами красного цвета больше всего должен был дразнить и возмущать наших врагов»... Он действительно и дразнил, и возмущал. Фронтовики рассказывали после войны, как были донельзя удивлены и поражены, увидев в начале войны идущих на них в атаку немцев под красными знамёнами. Как же стрелять в них – в такие же, как у нас, флаги? Потом присмотрелись – внутри красного белый круг, как мишень.

Сразу же после занятия Штеттина советскими войсками на самом высоком здании города уверенно развернулся и величественно заколыхался на ветру большой красный флаг. Вот, гады фашистские, смотрите на символ нашей над вами победы. Но смотреть оказалось некому: гады на улицах города не показывались. А если бы показались, то, наверное, обратили бы внимание на некоторую странность самого высокого, самого красного и самого большого в Штеттине флага. Даже особо и присматриваться не нужно было, чтобы странность эту заприметить – она бросилась в глаза. Полотнище было очень большим – это чувствовалось даже на расстоянии. И в самом центре его выделялся круг заметно более тёмного цвета, чем всё остальное полотно. Можно было предположить, что так только кажется – оптический обман. Флаг на ветру колышется, складки его постоянно меняются и, наверное, создают иллюзию разной степени окраски. Но нет: чем больше я вглядывался, тем больше убеждался – в центре нашего флага темнеет явно посторонний, не наш, круг. Ничего подобного раньше видеть не приходилось. Все красноармейские флаги и флажки были равномерно окрашены в однотонный красный цвет, и иначе быть не могло. А тут нечто странное: почему, зачем и отчего?

– Папа, а почему на нашем красном флаге тёмное пятно?

– Какое такое «тёмное» пятно? Никаких тёмных пятен на нашем флаге нет и быть не может, и не должно.

– Нет, может. И даже есть. Ты посмотри на него: вон в самой середине – тёмный круг... Отец задрал голову, приостановился.

– Ух ты, и в самом деле. Интересно... А-а, понял. Это, Стасик, немецкий флаг.

Стасик от изумления и возмущения подскочил на месте:

– Как это немецкий?! Почему это – немецкий? Это наш красный флаг! Ты что такое, папа, говоришь-то?

– Успокойся, сын. Всё очень просто. У нас, наверное, не нашлось такого большого флага и взяли немецкий. Он ведь тоже красного цвета, только в середине у него белый круг со свастикой нашит. Этот круг отодрали или отрезали и получился красный флаг полностью. А цвет оказался в круге темнее потому, что вокруг него материя под солнцем выгорела и побледнела, а он сохранился и остался прежним... Понятно?

Причины стали понятны. Но всё равно в душе Стасик не мог примириться с тем, что наша армия воспользовалась трофейным немецким флагом, как своим символом. Всё равно на нём заметно выделялось тёмное пятно. Оно резало глаза и вызывало неприязнь: ведь на этом месте находилась свастика – самый ненавистный в мире знак. Чувство антипатии к тёмному пятну прошло только тогда, когда трофей всё-таки заменили на настоящий советский красный флаг. Правда, размером поменьше. Видимо, многим претило бывшее в употреблении фашистское полотнище... Впрочем, к этому случаю можно подойти и с другой позиции. Во-первых, очевидна простота смены символов при сохранении основного фона; во-вторых, нагляден пример превращения флага побеждённого в знамя победителя...

Квартиру нам выделили на улице Фриден штрассе возле какой-то небольшой площади с одной стороны и выложенной крупными камнями стены с другой. Стена возвышалась над общим уровнем земли, и над уровнем неподалеку находящегося моря, метров на десять и пред-

ставляла собой не преграду, отгораживающую что-то от чего-то, а красиво оформленный то ли искусственный, то ли естественный обрыв. По краям его, вдоль самой кромки стены, росли невысокие кусты. За кустами простиралось довольно обширное поле, поросшее высокой, но, по-немецки, ровной травой. Над травой и полем господствовало обширное и красивое здание светло-серого цвета с большими окнами. Окон казалось больше, чем кирпичных стен. В первые дни своего приезда наша компания до него ещё не добралась и что оно такое и зачем оно, мы не знали. Родители мои, изучив его внешние профили, предположили: это либо больница, либо школа, либо неизвестно что и последнее предположение было, вероятно, самым верным...

Для нас, всеядных пацанов, самым важным открытием, и приобретением, явилось росшее неподалеку от «нашего» дома персиковое дерево. Оно было вполне высоким, по нашим меркам, и имело на ветках множество плодов. Относительно их спелости между нами и родителями возникли разногласия. Взрослые категорически утверждали: персики ещё не дозрели и есть их рано. Мы – не утверждали ничего: мы их уже ели и нам они казались вполне спелыми и сладкими. Росли там ещё и каштаны. Их плоды выглядели очень симпатичными и вкусными. Однако при раскусывании обнажали белую свою сущность, довольно твёрдую на ощупь и совершенно несъедобную на вкус. Что-то вроде мыла. Кто-то вспомнил чей-то рассказ о том, что если их пожарить, то вкус изменится в лучшую сторону. И действительно изменился после обжигания огнём – стал ещё более противным. Как всегда, спросил о загадочном явлении своих всезнающих родителей. Тайна раскрывалась просто: это были несъедобные каштаны – не тот сорт. «Того» найти не удалось. Так и не попробовали мы каштанов. А хотелось: само название плодов слышалось очень вкусно, а внешний вид очень напоминал шоколадную конфету, виденную на картинке.

Возле многих домов и вдоль дорог Штеттина, по обычаям и других городов неметчины и Польши, плодовые деревья росли в изобилии. Мы вскоре научились лазать по ним не хуже обезьян и ходили, измазанные смешанным соком различных фруктов. Питались и наземными ягодами: виктория, земляника, домашняя, крыжовник, смородина... Особенно понравилась черешня. Даже больше персиков. Те почему-то довольно скоро приелись – из за приторности, наверное. Черешня была сладкой в меру, сочной и мясистой. Трёх сортов: «чёрная», красная и белая. Устроившись на деревьях поудобнее, мы срывали ягоды с веток, накладывали их себе в рот, вальяжно сплёвывали косточки на землю или пуляли ими друг дружку... Ели без меры и, опять скажу, не имели никаких последствий, кроме чисто естественных...

Времяпровождение наше кревоугодием, конечно, не ограничивалось.

Спустившись после очередного подкрепления сил и настроения ягодами с райских деревьев на грешную землю, наша прежняя тройца неспешно отправилась на экскурсию в ближайшие дома. Шли по совершенно пустой улице. Ни одной фигуры, ни одной живой хотя бы тени, ни тела, ни призрака, ни звука. Вымершие дома равнодушно и незряче смотрят прямо перед собой немигающими глазами окон. Изредка вдали слышатся звуки спешащих по уже мирным делам военных автомашин и это были единственные признаки того, что город всё-таки как-то и где-то ещё живёт.

Если по окраинам Мезеритца бегали, не пересекая городской черты, аборигенские мальчишки, то в Штеттине детей «лиц немецкой национальности» не видно было совсем. За те несколько месяцев, пока мы жили в нём, не довелось даже издали видеть ни одного. Вероятно, вера местного населения в рога нечистой силы под пилотками русских солдат оказалась посильнее, чем в Мезеритце, и всё оно дружно покинуло свой город. может быть, и не свой, если жили в нём вместо поляков немцы. Бежали стремительно: опять на столах некоторых квартир стояла готовая и не съеденная еда. Спешили, видимо, в состоянии панического ужаса или под угрозой насилия со стороны своих же полицейских и жандармов.

Подразнить было некого, нас тоже никто не дразнил – повоевать не с кем. Скучновато. Оставалось только заниматься мирными исследованиями окрестностей. В тот раз начали

их с посещения маленькой деревянной полуразвалившейся будочки, притулившейся к высокой стене большого тёмно-серого, выглядевшего очень суровым дяденькой, каменного дома. Вид у сооружения был интригующим. Вокруг камень и асфальт, отутюженный, отлинеенный и вымуштрованный городской пейзаж и вдруг – что-то почти родное деревянное.

Дверца будочки оказалась запертой на небольшой замочек, но он выглядел беспомощным и наивным: доски рядом с дверцей переломаны и выбиты. Через пролом просочились поочередно внутрь и мы. Проникшие сквозь обширные щели и пробойны солнечные лучи жёлтенькими котятками устроились на переломанных полках и опрокинутом верстаке. Какая-то миниатюрная мастерская. Под ногами что-то хрустит... Присмотрелись. На полу – россыпь ярких разноцветных комочков. Подняли несколько штук. Фигурки забавных зверюшек, смешные рожицы, маленькие человечки в необыкновенных нарядах. Всё весело раскрашено. На каждом изделии булабочка для прикалывания на одежду. Значки не значки, брошки не брошки, а что-то такое странное. Мы не ожидали увидеть в Германии ничего весёлого: звери-фашисты веселиться не способны, по нашему твёрдому и прямому, как клинок меча, мнению. Их предназначение совсем иное: разрушение и прочие злодеяния. Именно это, и только это видели наши, не очень-то ещё искушённые в этом мире, глаза на всём своём пути к тому, что только и могло быть логовом страшных зверей...

Забавные вещицы понравились, но мы принялись давить и крошить их ногами. И ни одной не взяли с собой на память. Скорее всего приняли за какие-то коварные фашистские значки неизвестного назначения. А всё фашистское подлежало немедленному и безоговорочному уничтожению. Простая логика детской непримиримости... А на самом деле мы находились, скорее всего, в маленькой мастерской какого-нибудь частника, занимавшегося изготовлением игрушечных поделок для заработка на жизнь свою и украшения жизни немецких ребятишек.

Произведя разрушения дополнительно к уже имевшимся, мы выбрались из будочки с чувством выполненного долга, словно врага победили. Огляделись по сторонам. Стороны предстали в виде многоэтажных домов на все части света. Не такими уж многоэтажными они и были: четыре – пять, но нам казались громадинами. Немного поспорив о выборе направления, предпочли сторону правую без особых на то оснований.

– В какой дом пойдём? – поставил вопрос Митька, вытирая об рубашку на животе руки.

– Давайте вон в этот. В других мы уже были. Ничего интересного, – определил цель Семка, поддёрнув повыше штаны, съехавшие без пояса совсем не воинственно вниз и обнажившие пуп, торчавший из живота, как маленький вулканчик.

«Этот» дом оказался ближайшим. Входная дверь нараспашку, многие из внутренних – в таком же состоянии. Можно было бы сказать: гостеприимно распахнуты. Только гостеприимства не ощущалось. Не хватало хозяев, радушно стоящих в дверях. Дом был явно пуст, но казалось, что в невидимых внутренностях квартир есть какие-то живые существа. Даже не обязательно люди... В первую же попавшую вошли с осторожностью. Сначала вытягивали шеи с головами на них, заглядывая в проёмы дверей, и только потом, убедившись в отсутствии и существ, и людей, входили внутрь... Просторный коридор. Налево – обширный зал. В зале на стене – портрет Гитлера в строгой тёмной рамке... Надо сказать, портреты фюрера нам попадались очень редко. Этот был, пожалуй, единственным. Фюрер смотрел куда-то вверх наших голов гордо и очень самоуверенно. Наверное, в светлое завтра тысячелетнего рейха. В него тут же полетела схваченная со стола хрустальная кружка. Полетела метко: фюрер лишился левого глаза, а оставшийся перевёл на нас, будто прицелился. Выбили и этот. Фарфоровой чашкой. Торжествующе рассмеялись.

«Адольф в поход собрался,

Наелся кислых щей.

В походе обос.....
И умер в тот же день.
Его жена Елена
Сидела на горшке
И жалобно пер.....,
Как пушка на войне».

С воодушевлением пропев эту популярную в те годы песенку, Симка издал губами пушечный звук...

– А жену Гитлера разве Еленой звали? – спросил я.

– Еленой, а как же ещё? – пожал плечами Сёмка.

– А я не знаю как, потому и спрашиваю. Ленка, так Ленка. А почему она на горшке сидела, а не Гитлер: кислые-то щи ведь он ел?

– Ну, значит, и она тоже жрала их.

Обсудив таким образом меню гитлеровского семейства и его последствия, разошлись по комнатам.

Мин в нашем районе Штеттина не было и в своих экскурсиях по домам мы ничего не опасались. Из квартир не брали ничего кроме оружия, если находили. Несколько раз попадались странного вида длинные узкие клинки с шарообразным эфесом. К рукоятке клинка вело неширокое отверстие – только руке пролезть. Шары, разукрашенные разноцветными кусочками замши, смотрелись очень красиво. И очень непонятно. Перед нами явно холодное оружие, но совершенно непонятного назначения. Носить его при себе не представлялось возможным: большого диаметра шар плохо пристраивался к боку и мешал при ходьбе. Да и ножен при себе клинок не имел... Наконец, как-то случайно увидели рисунок. На нём два полубоюжённых воина фехтовали похожими на найденные клинками. Ах, вот это что такое: спортивные рапиры... Мы их назвали тренировочными. Имелось ввиду, что такими сражаются только на учёбе, а в настоящем бою употребляют оружие боевое. Боевых же рапир не находили, как ни старались.

Иногда на стенах висели красивые сабли с золочёными, а может быть и в самом деле золотыми, эфесами с львиными головами. Их снимали без колебаний и уносили, как трофеи.

В соседней комнате звонкой пулемётной очередью протарахтел смех Мити:

– Ребята! Идите скорее сюда! Я такую книгу нашёл! Ха-ха-ха...

Бросились смотреть. В комнате, в роскошном кресле серой обивки сидючи, подпрыгивал на невероятную высоту от приступов смеха наш дорогой товарищ. Ни глаз, ни носа на его лице: вместо всего этого на нас смотрел его хохочущий рот. Бурное веселье сопровождалось дрыганьем ног и хлопаньем по ним большой книгой в тёмно – зелёном переплёте. На нём красивые золотые буквы. Что-то по-немецки, непонятное и готическое. На плотной глянцевой бумаге какие-то стихи и рисунки к ним. А вот дальше всё предельно понятно без каких бы то ни было надписей и подписей – картинки. На каждой – Адольф Гитлер собственной персоной. Вот его персона стоит нагишом, застенчиво прикрывая одной рукой своё мужское достоинство. На другой сидит белый голубок, восторженно глядя в лицо фюрера. Лицо умильно улыбается, над лицом нимб, на голове – лавровый венок...

Эта карикатура очень хорошо впечаталась в память. Множество ругих как-то не запомнилось. Пролистали до последней страницы всю толстенную книгу. Посмеялись до схваток в животе и судорогах на щеках. Веселило, собственно, не столько остроумие самих карикатур, сколько то, что на них Гитлер нарисован в смешном, и даже в непотребном, виде. И удивились. Книга – немецкая. И вдруг – карикатуры на немецкого же вождя – тирана и деспота, фюрера

фашистов, расправлявшихся с любым за ничто и ни за что ни про что... А тут – издевательские рисуночки, да ещё и в роскошном издании, в немецкой квартире на открытом месте... Да попади она в руки гестаповцев – от хозяев, поди, и пепла не осталось бы... Или в нацистской Германии разрешались насмешки над её вождями?..

Необычный шедевр Станислав принёс «домой», больше поразив им родителей, чем насмешив. Для Советского Союза явление такой книги было бы равносильно хранению книги с карикатурами на Сталина или Ленина, напечатанной в типографии. Даже представить себе такое просто невозможно. Испепелили бы всех. И не только тех, кто имел хоть какое – либо отношение к такому неслыханному кошунству, но и тех, кто мог его иметь даже всего лишь в мыслях, видел или слышал о существовании чудовищного святотатства. Загадка. Тем более, что нашли книгу там, где на стене висел портрет того же персонажа, только вполне официальный, важный и парадный, карикатурно схожий с карикатурами на самого себя. Уж не известно, кричали ли ему «хайль»...

Окончив обследование квартиры и не найдя в ней ничего для себя интересного, кроме уморительной книги, отправились в другую. Здесь, как и везде, уже кто-то побывал до нас. Дверцы всех ящиков, шкафов и комодов распахнуты, вещи выкинуты на пол и разбросаны по нему. «Тряпье», – пренебрежительно сплюнул кто-то из нас. Не дело настоящих мужчин рыться в нём. Настоящих мужиков потянуло в ванную комнату. Она, вся в кремовой отделке, блестела и сверкала не только кафелем, никелированными кранами и всем другим, непонятного назначения, что может, и даже не может, блестеть и сверкать. Зеркала, белый фарфор унитаза, раковины... Открыли кран. Он немного пошипел, поворчал и внезапно выпустил сильную струю воды – действует, оказывается. Собственно вода нам была без надобности. А вот развлечься случай представился. Я завернул колпачок крана, отключив воду, зажал отверстие водопровода ладонью и снова быстро открыл кран. Вода из под ладони восхитительно брызнула во все стороны упоительными сильными струями. Даже дыхание от восторга прервалось на время. Моментально всё и все вокруг оказались мокрыми с головы до ног. Шум и треск фонтанирующей воды смешался с восторженными воплями. Манипулируя рукой, я направлял струю во все стороны, добиваясь прицельного попадания туда, куда хотелось. Добился... Товарищам тоже захотелось испытать те же богатые чувства, что и я. Всем в одной ванной стало тесновато и товарищи экспериментаторы разбежались по соседним квартирам. Немедленно и из них донеслось шипение и треск водяных струй, неистовые восторги. Вдосталь намочив себя и всё, в доступном радиусе, пространство вокруг, собрались на лестничной площадке, мокрые и довольные совершёнными подвигами.

– Куда дальше? – деловито поинтересовался Сима из под свисающих сосульками сырых волос.

– Пошли в другой дом, – предложил Митька, покрывая пол вокруг себя каплями воды со штанов.

– Так ведь это же надо спускаться вниз... А давайте на крышу влезем, – сказал я стягивая воду с кончика носа.

Предложение приняли единогласно. Добраться до крыши особого труда не составило. Железная лестница упиралась прямо в люк, кстати уже открытый. Крыша, как и у наших современных городских домов, была плоской и не имела никакого ограждения. Вид с высоты оказался не таким уж и интересным. Ожидали чего-то, более занимательного. Потоптавшись, собрались уходить. Куда – вопрос. В соседний дом – ответ. А он совсем рядом – буквально в двух, трёх шагах. Вот только шаги эти приходились на воздушное пространство: дома разделяла пропасть между отвесными стенами... Но всего метра в полтора – два... Возник соблазн.

– А давайте перепрыгнем, – предложил самый отчаянный из нас всё тот же Симка.

– А если не допрыгнем? – поинтересовался самый благоразумный из нас, Петька, опасливо заглянув в щель между домами.

Общество задумчиво помолчало. После этих слов спуститься вниз по лестнице и переходить в соседний дом по земле казалось делом почти уже неприемлемым, не достойным мужского самолюбия. Перепрыгивать – сомнительным. Первый вариант: прыгать – опасен; второй: спуститься – сдрейфить... Подошли поближе к краю крыши.

– Вот же она, рукой подать, – измерил расстояние на глазок Симка.

– Да где ж ты руку такой длины видал? – усомнился Петя, иронически посмотрев на него.

– Там, где я её видел, там её теперича нет, – солидно огрызнулся Сима.

– А ты перепрыгнешь? – спросили Симку, в тайной надежде, что он откажется.

– Да если разбежусь, то и перепрыгну, пожалуй, – разочаровал Симка.

– А если не пожалуй?.. Тогда тебе отец всыпет по первое число, – попробовал пугнуть друга я...

– А тогда уже некому всыпывать будет, – догадался самый сообразительный Митька.

Опять помолчали. Слова Митки могли оказаться пророческими: свалишься вниз – действительно некого потом будет ругать, и незачем... Но отступать – значит поддаться страху, сдрейфить и струсить, и вообще опозориться перед мужественными товарищами, покрыв себя бесчестьем. Нам ещё не были знакомы ни слова о здравом смысле, ни само его понятие. Зато хорошо известны другие: вперёд, «даёшь» и отвага. Все наши отцы имели медали за это качество и стыд бы нам были и срам, если бы мы не повторяли их подвигов везде, где можно, а так же и там, где, может быть, нельзя...

Разбежаться собрался первым всё же не Симка, а самый прыгучий – Митька. Отошёл почти до самого противоположного края, попыхтел, для начала, как паровоз, изобразил бег на месте, с нарастающей, набрал, наконец, скорость... И затормозил, заскакал на одной ноге – оторвался хило державшийся ремешок на сандалии и попал под пятку. Теперь такая обувь в качестве спортивной уже не годилась. Выход нашёлся моментально: сандалии полетели на соседнюю крышу самостоятельно, опередив своего хозяина и проложив ему дорожку. Наш спортсмен вновь начал разбег уже босиком. Прыжок! Полёт и Митька попирает не первой свежести пятками соседнюю крышу, довольный по самую макушку.

Следом Симка. У него привычка: перед каким-либо интересным, но рискованном делом свёртывать собственный нос на правую щёку, а щекой прижимать нижнее веко правого же глаза к брови. Совершив сию манипуляцию и теперь, её автор перепорхнул вслед за Митькой. Петька преодолел пропасть спокойно – чуть ли не перешагнул, словно законы гравитации были ему ни к чему. Очередь оставалась за мной. А я не решался. Слишком живо представилась картина моего возможного недолёта. Недостатком воображения я никогда не страдал...

– Ты чего, Стаська? Дрейфишь, что ли? – сочувственно, но не без ядовитости, осведомился Сима.

– Ну да, скажешь тоже, – соврал я. – Вот в носу что-то зачесалось.

– Тогда давай вычёсывай оттуда это самое что-то и валяй к нам.

Для правдоподобия почесал переносицу... Долго, всё же, чесать не станешь. Либо прыгать, либо позорно отступать... Страх почти ощутимо выполз из меня и нырнул в пропасть между домами, как в засаду... Эх! Была не была. Разбегаюсь на не вполне крепких ногах. Отталкиваюсь, прыгаю... И встаю на самый краешек противоположной крыши одной ногой. Другая ударяется о торец дома. И срывается. Страх мгновенно выскакивает из засады и вцепляется в меня своими холодными щупальцами. Тянет вниз. Соскальзываю со стены, больно обдираю живот. Повисаю на локтях, вцепившись в неизвестно что на крыше. «Всё. Сейчас сорвусь...» Страх тяжело висит на ногах. Дыхание... Никакого дыхания. Замерло. Помутневшим взором вижу, как мои друзья, оправившись от оцепенения, кидаются ко мне, хватают за руки. Тащат к себе. Страх упёрся и липкими крючками тянет в свою сторону – вниз. Но я уже

осмелел: друзья со мной. Они волокут меня по тому же острому краю крыши всё тем же животом... Вытащили. Наша взяла. Я дрожу. Даже не дрожу, а трясусь. Уже не от страха, а от перенесённого напряжения...

– Это ты потому сорвался, что долго думал и страх тебя одолел. Перед прыжком совсем думать не надо – тогда перескочишь хорошо, – глубокомысленно изложил Митька.

– Ну, у тебя и животик теперь, что надо, – восхитился Сима. – А покажи-ка.

Задираю рубаху. Да... Будто кошки порезвились своими когтями. Как теперь дома объяснишь... Насчёт кошек не поверят.

– Скажи, бежал, мол, споткнулся о камень и – животом по щёбёнке...

Соглашаюсь: версия не хуже других, особенно если иных не имеется. Попереживав немножко и обсудив приключение, двинулись дальше на охоту за оружием – саблями, шпагами, рапирами, кинжалами и чем-нибудь ещё режущим, колющим, рубящим и стреляющим.

Роскошная обстановка «буржуйских» квартир довольно скоро примелькалась и уже не обращала на себя удивлённого внимания. Взгляд просто не фиксировался на предметах обстановки комнат. Меня интересовали книги, кроме оружия, разумеется. Почему-то надеялся найти книжки на русском языке. Мама рассказывала о русских эмигрантах, живших в Европе. Штеттин находился именно в ней и почему бы здесь не жить эмигрантам из России вместе с русскими книгами?.. Однако, ни эмигрантов, ни их книг.

Кроме забавной книжицы про Гитлера попалась нам ещё одна потешная книженция. Очень потрёпанная, серой внешности с какими-то пятнами на обложке и – на репутации своей, как убедились тотчас же, толстая с обмахрившимися уголками страниц. Сразу видно – читанная перечитанная и пересмртренная. Мы бы, может быть, и не обратили на неё особого внимания, если бы на обложке не красовалось изображение очень объёмистой... задницы. Пол сей почётной и впечатляющей части организма остался неизвестным – за пышными формами больше ничего не было заметно. Хихикнув, и эту книженцию пролистали от начала и до конца. Нарисовано в ней было много чего: от гениталий обеих полов отдельно и до комбинаций из них в различных сочетаниях. Много текста. Скорее всего, это было какое-то развлекательное сочинение о чьих-то любовных приключениях и даже о военных действиях во время них. Главным орудием походов и оружием боёв были, разумеется, различные части и органы человеческих тел, преимущественно половые... Впечатлил рисунок выстроенных в трёхслойный ряд обнажённых задниц, из которых мощными картечными струями хлестало их содержимое прямо в ряды наступающего противника... Не с помощью ли этого секретного нового оружия надеялся Гитлер выиграть свою военную кампанию против всего мира? Книгу такого содержания и содержимого нести показать родителям не решился ни один из нас. А жаль, прямо сказать задним числом.

Снова разбрелись по квартирам. В одной из них через распахнутую дверь виднелся книжный шкаф с ослепительно красивыми рядами сверкающих переплётками, как оковкой старинных сундуков, книг. В груди моей что-то дрогнуло и зажглось: вот сейчас здесь обязательно найдётся что-нибудь очень для меня интересное. Перешагиваю порог и... Замираю на месте статуей самому себе. Даже двигаться не посмею. Только ногу поднятую опустил медленно-медленно, чтобы не потревожить того, что сидело на какой-то коробке, лежащей на трюмо, стоящем в прихожей.

Существо имело в длину сантиметров пятнадцать – двадцать, не меньше... Но, может быть, и поменьше, если отбросить мои глаза, ставшие от страха перед насекомыми слишком великими. Именно одно из них и сидело передо мной. И глядело на меня странными своими глазами, выпуклыми, круглыми и не мигающими. Над ними торчали длиннющие усищи, загнутые назад. Под ними что-то вроде клюва, крючком загнутого вниз. Задние конечности, со страшными пилами, возвышались зловещными треугольниками. Туловище, похожее на боевой патрон, напряглось, как перед броском. На меня, разумеется... Всё это зелёное чудовище

называлось саранча. Или кузнечик. Или ещё как-нибудь, но так же скверно. Только чрезвычайно огромный. Тех, которые маленькие, и которые кобылки, я не боялся. Точнее, довольно легко преодолевал некоторую брезгливость и боязнь перед ними. Не то, чтобы страшился их укусов. Просто они казались мне какими-то странными живыми тварями, не похожими на других ни видом внешним, ни поведением. Сидевшее передо мной существо отличалось от других не только внешним видом, но и размерами. Действительно устрашающими: где вы видели саранчу таких размеров?

А оно всё сидело и не двигалось. Окаменели мы оба. Оно неизвестно почему, а я, откровенно говоря, от страха. Мысли о книгах не то, чтобы отошли на второй план – они просто исчезли... Думалось об отступлении. А вот почему не о том, чтобы просто взять что-нибудь увесистое в руки и прихлопнуть подозрительную тварь, сказать не могу – не знаю. Сомнения имелись: а не искусственное ли оно? Не статуэтка ли? Такая?.. Но очень уж тонкая работа. Особенно усы. Их и ненароком сломать можно, а они вон как торчат... Нет – настоящий, гад такой... Но что же делать? Я стыдил себя за боязнь и ничего не мог с собой поделать. Так и ушёл, оставив в покое и невероятного кузнечика-саранчука, и свой страх перед ним. Книжки посмотреть решил оставить на потом. А потом – не нашёл этой квартиры.

С оружием не повезло – не нашли. Обнаружилось нечто другое. Тоже красивое, но мирное и, на наш взгляд, совершенно бесполезное – хрустальные фужеры и рюмки, разноцветные и разнообразные по форме и по назначению. Они переливались всеми цветами радуги, когда мы поставили их к стенке на солнечной стороне дома. Свет нам нужен был для точного прицеливания. Мелких камней, боеприпасов, набрали неподалеку из какой-то кучи, заняли позиции. По команде «огонь» метательные снаряды полетели в мишени – в те самые хрустальные рюмки. Они красиво, с нежным звоном разбивались на мелкие осколки или изящно распадалась на части... Перебив все, выстроенные в первую очередь, расставили следующую партию приговорённых. Звон, блеск, осколки... Ни в одной из наших голов даже не забрезжила мысль о том, что такие красивые вещи лучше бы, наверное, хотя бы сохранить, если уж не хочешь взять с собой... Красота хрусталя и искусство тех, кто сделал его красивым, не имели никакого значения, будто это были простые бутылки или глиняные горшки. Для нас – всего только мишень. Порох войны, разрушения и мести, пусть даже нелепой, горел в наших сердцах: из этих рюмок пили «звери»... Мы крепко усвоили, где находимся.

* * *

Аккуратный, сколькитозэтажный, дом, где мы временно жили, стоял как бы особняком, не имея ближайших соседей. Квартира наша смотрела своими окнами на две стороны света. С одной стороны – респектабельная улица, а с другой – та самая стена, о которой я уже говорил. Верхний этаж обеспечивал возможность обозревать пространство поля за окаймляющими край стены кустами. На этом поле происходили странные события. Там появились люди в штатском.

В нашем мире все люди разделены на две категории: военные и штатские. С самых малых лет, по мере постепенного осознания действительности, для меня военные находились на первом месте. С ними было всё ясно: те, которые в форме, – солдаты или офицеры, военные. В нашей форме – хорошие люди, друзья, защитники, герои, освободители, товарищи. В гитлеровской – враги, фашисты, убийцы, грабители, звери... Штатскую же одежду носили неизвестно кто. Это могли быть и мирные, ничем не выделяющиеся люди, и переодетые бандиты, бандеровцы, шпионы и прочие, подозрительные личности. Тем более на территории, которую совсем недавно занимали те, кто воевал против нас. Пустота улиц не тревожила: она означала, что нет врагов. Видимых. Они могли быть и не видимы, притаившись в тайных убежищах. Для управы на них существовали наши войска и их было большинство, явно видимое.

По полю, совсем недавно пустынному, начали ходить взад и вперёд какие-то загадочные субъекты, преимущественно мужчины. И женщины среди них тоже появлялись, но очень мало. Местными жителями они не были. В пустых домах не поселялись. Жили в стоящем посреди поля большом доме. Возраст мужчин, казалось бы, обязывал их быть в какой – нибудь, но военной, форме – все военнспособные мужчины воевали. Эти носили разномастную гражданскую одежду. В то же время в их руках и оружие иногда замечалось. В какой-то день всевидящие глаза нашей компании заметили, что население большого дома установило вокруг него вооружённую охрану, не пропуская никого без предварительного обследования. Партизаны какие-то посреди города.

В тот тихий безветренный день трава перед приютом «партизан» была неподвижна и по тропинке, в ней проложенной, шла женщина. в пёстром платье. Оно плотно обтягивало её фигуру, обнажая ноги повыше, чем того требовали приличия того времени. Женщина шла свободно и беззаботно, даже, кажется, напевала что-то. И вдруг почти упёрлась грудью во внезапно выросшего перед ней из ниоткуда мужчину с немецким автоматом в руках... Он, видимо, прятался в высокой траве: или на посту находясь, или отдыхая. Перекрыв путь, автоматчик начал о чём-то женщину расспрашивать. Она показывала руками направление своего пути вперёд – куда шла, и назад – откуда, что-то объясняла. Мужик продолжал допрашивать её, встав, в конце концов, вплотную. Внезапно оба исчезли... Как провалились. Вокруг – чистое поле без каких бы то ни было кустарников или деревьев. Высокая трава. Недоумеваю, обшариваю глазами окрестности. Быстренько сбегал в соседнюю комнату за цейсовским биноклем. Обследовал, «по-разведчески» медленно ведя окуляры вдоль поля из конца в конец.. Пусто. Страшная мысль: тот, что с автоматом – бандит и женщину убил. Она упала, а он скрылся ползком, по-змеиному... Но вот на том самом месте, где только что стояла парочка, замечаю: из травы ритмично то поднимается, то опускается что-то светлое и округлое... Что это такое в деталях невозможно было различить даже в восьмикратный бинокль. Но, скорее всего, это нечто имело человеческое происхождение... Через несколько минут из травы поднялся тот самый мужик, поднимая и натягивая на свои задние выпуклости штаны... Вероятно, они и мелькали над травой. Появилась и женщина, закрывая подолом свои... Постояли, не глядя друг на друга, и разошлись в разные стороны, каждый своим путём. Мужик закурил. Женщина, как мне показалось, плакала, но была цела и невредима...

А как-то утром окрестности дома сотряслись от яростного крика отца:

– А ну пошли отсюда к такой-то матери! Вы что здесь уборную устроили? Уходите, а то сейчас получите по своим задницам!

Чтобы наш отец крыл кого-то матом – случай не менее исключительный, чем дождь в виде алмазов. Матерщину вслух он не употреблял никогда. Не исключены случаи мысленных извержений – эмоции есть эмоции. Но в звуки они не превращались. Говорили, что даже в бою от него бранного слова не услышишь. И вдруг – в мирное утро. Из окна дома... Выскакиваю из постели. Бегу на голос. Вижу стоящего у раскрытого окна отца с пистолетом ТТ в руках, разъяренного до покраснения лицом. Прямо напротив окна, среди реденького кустарника с корточек, не спеша, поднимаются обнажённые нижние части тел, натягиваются спущенные штаны и даже опускаются юбки... Очевидно, наши «соседи» из дома в поле почему-то не хотели, или не могли, пользоваться цивилизованными туалетами на своей территории, и нашли для отправления естественных нужд своих наиболее привычное и подходящее, с их точки зрения, место: прямо перед нашими окнами. С отвесной стены очень «удобно» отправлять вниз свои отходы... Делалось это неоднократно. Мы даже старались не открывать окна на эту сторону, только предполагая, откуда берётся возле дома то, от чего исходит мерзкое зловоние. И вот догадки подтвердились воочию.

Инцидент помог выяснить и происхождение загадочных субъектов. До него отец не проявлял к ним особого интереса: пусть городская комендатура разбирается – это её прямая обя-

занность и служебный долг. Если их никто не трогает на территории, подконтрольной нашей армии – значит, есть на то основания и разрешения. Да, было и то, и другое. Люди в штатском оказались так называемыми «перемещёнными лицами» или «репатрированными». Так их потом мы и называли: репатрированные. Это были люди, угнанные немцами в Германию. Но имелись среди них и те, кто жил и работал на фашистов добровольно – так называемые «хиви». Всех их должны были вернуть на родину, а пока... Вот что там «пока» оставалось неясным. Если они жили без воинской охраны – им в какой-то степени доверяли. Но держали в одном месте, выделив помещение для временного обитания. Вероятно, ещё не доходили руки у компетентных органов до этих несчастных: других дел достаточно было. В своё время пришла и их очередь: они исчезли однажды ночью так же внезапно, как и появились. Во всяком случае видно их больше не было.

О непонятном и странном, для меня, происшествии с женщиной я рассказал родителям, чтобы получить объяснение. Мама ахнула:

– Изнасиловал, мерзавец! Они не дрались? Женщина не кричала, не сопротивлялась?

– Не-а, мама, не дрались. А вот кричала или нет, я не слышал – далековато до них было...

Кажется, не кричала, но не слышно...

– Ну да, конечно. Посопровствляйся-ка, если у него автомат. Да и нож, наверное, был.

Ножа я тоже не видел, но он, вполне вероятно, мог и быть. Огнестрельное оружие найти можно было, всё-таки, потруднее, а всевозможные виды холодного – сколько угодно. В Штеттине наша компания обзавелась настоящими эсэсовскими кинжалами. Превосходные клинки в форме тевтонского меча из великолепной стали. На лезвии – гравировка готическим шрифтом «Gott mit uns» – «с нами бог». Полированная рукоятка из драгоценной породы дерева тёмно-коричневого цвета с серебряной эмблемой смерти на ней... Потом, уже в России, точно такое же оружие у одного из уличных фотографов: он его приспособил вместо кавказского кинжала для экзотической фотографии клиентов, цепляя его к поясу грузинской чохи с газырями.

Любимейшее развлечение нашего отрядика, после экскурсий по домам и расстрела хрустальных бокалов, – посещение свалки или склада, или неведомо как его назвать, места, куда наши трофейные команды немецкие автомашины сволокли. Десятками. Всевозможных марок, происхождений и национальностей. Среди явно поломанных и пробитых в боях и обстрелах находились и на вид вполне целёхонькие. Склад, назовём его так, располагался на территории какой-то воинской части за высоким каменным забором и охранялся часовыми. Мы либо проникали в нужное место сквозь пролом в стене, известный только нам, либо непосредственно через КПП, контрольно-пропускной пункт. С часовыми здоровались, как со старыми знакомыми. Нас, как правило, пропускали почти не глядя, как персон, достойных всяческого доверия. И мы бродили среди машин, оценивая их достоинства компетентными суждениями знатоков. Забирались внутрь, крутили баранки, бибикали, раскачивались и прыгали на сиденьях в полное своё удовольствие.

Сидения некоторых машин были выпачканы какой-то почерневшей и высохшей жидкостью: кровь, единодушно решили мы, потерявшая свой первоначальный цвет. Должно быть, так оно и было. В салонах иногда попадались детали немецкой военной формы: фуражки, кителя, поясные ремни. Как-то нашли пистолет. «Вальтер», определили безошибочно. Вполне исправная боевая машинка, только без патронов. Конечно, взяли с собой. Донесли только до первого попавшегося офицера. Заприметив в наших «несмышлёных», по его мнению, руках опасную, но привлекательную, вещицу, он её немедленно конфисковал: опасно, мол, вам такими вещами баловаться. Думаем, в свою пользу – хорош был пистолетик...

Неподалеку от «музея» техники – спортивная площадка. Турники, брусья и прочие взрослые премудрости нас интересовали только внешне. Но вот один из спортивных снарядов влюбил в себя моментально. И не только нас. Иногда и молодые солдаты с удовольствием лихо крутились на нём. Это был высокий столб с металлическим диском на вершине. В нём – отверстия. В отверстия вставлены и прикреплены длинные, почти до земли, прочные толстые верёвки с брезентовыми петлями на концах. Поначалу предназначение его было непонятно и подозрительно. Походили вокруг, посмотрели, подёргали за концы верёвок... Всё равно непонятно. Кто-то предположил: это такая виселица – гады-фашисты на ней людей вешали. Да уж очень верёвки толсты... Дёрнули канат горизонтально – круг на вершине повернулся в направлении дёрганья. А-а, так он крутится... Прodelи свои тела в петли, ухватились руками за верёвки и пошли по кругу, натягивая их. Побежали. Быстрее побежали, а когда набрали хорошую скорость, оттолкнулись, поджали ноги и полетели над землёй, как на каруселях. Летели так до тех пор, пока не иссякла сила инерции. Восхитительно, замечательно, превосходно и слов нет как здорово.. Повторили ещё и ещё раз. Наконец, стали не сидеть в петлях, поджавши ноги, а лежать параллельно поверхности земного шара с вытянутыми вперёд руками. Ощущение полёта – почти полное... Только крыльев не доставало для абсолютного. Приятно покруживалась голова и от этого казалось, что тела повисли в невесомости, вся Германия крутится вокруг, сливаясь в сплошную пелену... Повадились приходить туда ежедневно. Однако, количество верёвок с каждым днём начало постепенно убывать и, в конце концов, сошло на нет: остался лишь жалкий обрывок, но до него невозможно было дотянуться. И прекратились наши карусельные полёты.

Вскоре окончились и походы к машинам. Любимый пролом в стене однажды обнаружили наглухо заделанным досками и колючей проволокой. Командование части проявило похвальную бдительность. Часовые на КПП сменились. Новые нас не знали, а потому не очень вежливо повернули спинами к входу и лицами, соответственно, к выходу...

Нас, впрочем, сбить с курса оказалось нелегко. Даже наивно было подумать о том, что нас в принципе можно заставить не делать то, что мы делать решили. Да не могло такого быть, чтобы не нашлась где-нибудь какая-нибудь дыра, оставшаяся не замеченной даже для самых бдительных глаз: наши – всё равно зорче, пронырливее и наблюдательнее – соколиный глаз по сравнению с нашим близорук. После не слишком продолжительных поисков дыру и в самом деле обнаружили, вполне подходящую для того, чтобы в неё забраться с одной стороны и выбраться с другой. Видимо, взрыв какого-то устройства возле самой стены сделал воронку и между ней и низом стены появилось отверстие. Маленькое и узенькое, но целиком и полностью достаточное для наших не очень-то упитанных тел. Ввинтились, поелозили, подёргались и тела, наконец, оказались там, куда стремились их головы – почти возле самого склада. На всякий случай решили себя не обнаруживать: мало ли что – вдруг опять выставят. Оглядываясь по сторонам, короткими перебежками, квалифицированно, пользуясь отсутствием в поле зрения военных, перебрались к машинам.

К ним прибавились новые экспонаты. Под сидением одного из них оказался новенький эсэсовский кинжал в ножнах. находку сделал я и прибрал себе по праву «первооткрывателя». Направились к следующему объекту исследований – роскошному «оппель-капитану», как окрестил его самый сведуший из нас в автомобилях, Симка. Возможно, так оно и было. Оппель величественно присутствовал в плебейском обществе своих коллег попроще и, казалось, поглядывал на нас свысока и не дружелюбно: это ещё что за босяки тут шляются... Босяки не спеша приблизились к высокородному объекту. И тут откуда-то грянул окрик: «Стой! Стрелять буду!» Кричал не объект. Оглянувшись на голос, увидели сквозь чашобу машин спешащего к нам очень серьёзного солдата с автоматом в руках. Глаза его, круглые от внимания, смотрели в нашу сторону. Видимо, заметил какое-то движение среди предметов охраняемого объекта и принял решение познакомиться с ним поближе. Ему же не было видно – кто там

возится: пацаны или взрослые. Стало быть, нам он и предлагал постоять, чтобы стрелять удобнее было по неподвижной мишени. А вот у нас не имелось ровным счётом никакого желания ни знакомиться с часовым, ни служить ему мишенью. Даже обидно стало: мы же не враги, мы же свои. Ну, раз вежливо просят встать, постоим, пожалуй...

Но самый мудрый из нас, Митя, сказал прозорливо:

– А вот нас сейчас поймают и станут спрашивать: кто мы, да что мы, да чьи дети. А потом наших пап допрашивать начнут... Давайте-ка лучше убежим ползком. Между машинами.

Мысль была верной: время военное, объект охраняемый, а тут кто-то по нему с какой-то целью шастает без всякого на то разрешения. Лучше от греха подальше смыться. Бросились «смываться». Как бежать ползком никто из нас себе не представлял и мы изобразили нечто среднее между тем и другим: помчались, согнувшись пополам. Часовой, видя, что подозрительные личности ещё более подозрительно исчезли с его глаз, исполнил вторую часть своей угрозы: за нашими спинами прогремела короткая автоматная очередь и пули простучали зловещую барабанную дробь по кузовам машин где-то рядом. Такой поворот событий не ожидался. Со змеиным отчаянием заизвивались мы между остовами немецкой техники уже действительно ползком, обдирая локти и коленки о раздолбанный асфальт, и стучаясь головами о нехстати попадавшие на пути металлические части автомашин.

Страшно и обидно. Вдруг попадут! Так вот и убить же могут. Обнаружить себя, чтобы показать свой возраст, мы не додумались и уже не могли от страха ни думать, ни делать что-либо ещё вразумительное. Просто бежали и ползком, и бегом, если появлялась возможность. Позади слышались голоса уже нескольких человек. Свалку, судя по всему, прочёсывало целое отделение. Удвоив скорость, добрались до другого поста – уже на противоположном краю военного городка. Здесь стояло несколько солдат, занятых своими контрольно-пропускными делами. Ворота настежь открыты, через них проезжала колонна машин и внимание часовых сосредоточилось на них. На стрельбу они не обратили никакого внимания: эка невидаль.

– Ну, чего встали? Давайте побежать?! – полуспросил, полуутвердил запыхавшийся Петька, подпрыгивая от нетерпения.

– Нет, не побежали, а лучше пошли. Да ещё лучше пойдём медленно и спокойно. – Это уже предложил я, увеличив свою догадливость быстротой «бега ползком».

– А почему? Лучше быстрее убежать.

– Нет, не лучше. Они же здесь не знают, что мы убегаем от кого-то. А если мы и тут побежим – на нас сразу внимание обратят. А если пойдём тихо, будто гуляем, то и пройдем. Нас не остановят.

Что-то в груди моей грохотало так силдно и громко, когда мы с делано безразличным видом подходили к проходной, что мне казалось, будто его запросто слышат и часовые...

– Эй, пацан, стой-ка! – крикнул один из караульных.

Мы вздрогнули. И здесь «стой»... Неужто догадались сами или им позвонили по телефону? Остановились. Ещё не миновали ворота. Если бы они были уже позади...

– Смотри-ка, у тебя кровь на коленках. Ушибся, что ли? – пожилой сержант добродушно смотрел на Митю. – Давай перевяжу. У нас и бинт есть.

– Ой, не надо, товарищ сержант. Мне и не больно совсем. Да и до дома не далеко.

– Недалеко, говоришь?.. А разве у тебя здесь дом? Ты откуда сам-то?

– Из Горького с Волги.

– Вот там и дом у тебя, сынок, а не в Штеттине... Ну, идите, герои: «не больно»... Очень ты на сынишку моего похож... Как тебя зовут? Митька? Дмитрий, значит... Донской... А моего Ваней... Мы ведь, чай, земляки: я из Арзамаса. Ну, прощайте, ребяташки, счастливо вам.

Во время войны, особенно на фронте, где свистящая, гремящая или тихая, не слышная и невидимая, смерть постоянно находится где-то рядом, когда ощущение её близости каждый

день теснит грудь почти физической болью, близость людей ценится по-особенному. Армия соединяет в себе огромные массы человеческого материала – инструмента для выполнения приказов командования. Как бы и что бы кто ни говорил о ценности человеческих жизней даже в бою – это не более, чем красивая фраза. «Мы за ценой не постоим» – эти жестокие слова отражают самую суть воинского приказа: если он отдан, то должен быть выполнен во что бы то ни стало. Встаёт иной раз очень дорого... И кто это такие – «мы»?.. Те, кто сам идёт на смерть, или те, кто посылает идти на неё?.. Ведь, можно бы и постоять: цена-то – жизнь человеческая. Бесценная... Не монета разменная, не пачка купюр, а плоть живая. Даже в сталинской военной доктрине предвоенной сказано было: «малой кровью» – малой, то есть, ценой... «Не постоим...» Лихо, красиво сказал поэт. Не вдумался в сокровенный смысл этих страшных по своей сущности слов. А смысл живого, пока ещё, человека перед атакой, артиллерийским обстрелом или под бомбами – уцелеть, и Христа помянуть, и к Богу воззвать: спаси и помилуй нас, грешных, милостив будь. «Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас!»

Бог милостив может быть. Сила его в любви, а это и означает милость. Но – по выбору. По непостижимому выбору. На фронте ко всем милостивым стать невозможно: война требует жертв. Это – её хлеб, это – её цена. Без жертв войн не бывает. Но их может быть или больше, или меньше. Цена во многом может зависеть от того, благословит ли Бог полководца, стоящего во главе войска – от этого зависит цена побед.

Оберштурмбанфюрер СС, командир частей СС особого назначения Отто Скорцени в своих воспоминаниях о войне писал об одном из эпизодов боёв под Ельней. В самый разгар ожесточённого сражения при непрерывных атаках русских батарея хауптштурмфюрера Шойфеле вдруг перестала палить из своих 24-х орудий. Причиной, по мнению Скорцени, могло быть или внезапное сумасшествие командира батареи, или его тяжёлое ранение, или героическая гибель на поле боя. Оказалось совершенно иное: доблестный хауптштурмбанфюрер до беспамятства напился пьян. Непосредственно во время сражения. Командовать стало некому – орудия умолкли – русские пошли в атаку. Скорцени принял командование на себя. И – схватился за оставшиеся бутылки со шнапсом. Шойфелле, в течение трёх часов непрерывно стрелявший из всех своих орудий «по огромным массам русских, идущих на бойню через горы трупов, оставшихся с предыдущих атак, начал пить... Надо признаться, чтобы выдержать такое напряжение, после третьей атаки русских мне также пришлось выпить. Это был кошмар», – признался тёртый во многих боях эсэсовец. Он то и дело отмечал отвагу и доблесть русских солдат, но «они совершали ошибку, стремясь любой ценой прорвать нашу оборону. Все их атаки оплачивались очень большими потерями». Он отмечал то, что атаки велись всегда в одном и том же месте, хорошо пристрелянном немцами и только уже одно это обуславливало неоправданные потери атакующих. Очень похожий случай упоминается в документах 4-й немецкой танковой группы, когда тоже одним только артиллерийским огнём была полностью уничтожена конница красных войск, атакующая в плотном строю несколькими волнами на широком поле, «предназначенном разве что для парадов», – пишется в документе. Отличные кавалеристы, с самоотверженным мужеством выполнявшие приказ, заплатили высочайшую цену за чьё-то безумие... Подобных случаев настолько много, что они уже не кажутся только случаями, а если всё-таки ими, то говорящими о закономерности – «мы за ценой не постоим...».

И хочется тепла родной души. Или души кажущейся родной. А где ж её взять, эту родную душу, если осталась она вместе с близкими там далеко в тылу? Только во снах да в мыслях приходят к солдату те, за кого он в любой момент может отдать свою жизнь, «не постояв за ценой» – дорогой и для родственников... И вот находится земляк. Есть с кем вспомнить родные места и события: «А, так это ж было вон за тем углом, где аптека!» «Ага! Там ещё у дерева сук сломанный». «Точно!» Вот и родня – из родного же города! Есть с кем поговорить, есть на кого понадеяться в случае чего: придёт к родным и расскажет, если самому не дове-

дётся, «если крылья сложишь посреди степей...» Но не всегда так повезёт, что именно из родного города встретится человек. Что ж, и единая область – тоже сгодится: с одной же земли, а значит – земляки. Вот и объединяются арзамасец с горьковчанином в русском слове земляк, земля...

Сержант долго смотрел нам в след, опершись локтем на металлическую тумбу возле ворот, задумчиво пуская махорочный дым в сероватое небо чужбины.

Машинами мы больше на практике не интересовались. Даже не тянуло в ту сторону и не смотрелось. На той вертушке, где мы летали, всё равно не осталось ни одной верёвки. А отец и название забаве вспомнил: «гигантские шаги». Шаги действительно были гигантскими: оттолкнёшься и метров с десятков летишь до следующего толчка от земли.

* * *

Как-то ночью, вернувшись с дежурства при естественном свете единственного в городе источника такового – луне, войдя в подъезд и приблизившись к тому месту, где днём, насколько он точно помнил, была лестница, гвардии старший лейтенант Серёжин таковой в темноте не нащупал. Последовательное обследование при помощи осязания всего пространства лестничной площадки не помогло: лестницы на месте не оказалось. Ладно это была бы какая-нибудь времянка деревянная – нет: это была капитальная, добротная широкая немецкая лестница. Такую вот просто так, от нечего делать ради хохмы, не оставишь куда-нибудь в сторону, не ликвидируешь. Но её не было. Гвардии старший лейтенант Серёжин во всякую там мистику не верил ни в коем случае и даже наоборот – был твердостальным реалистом, почитал марксизм, но лестницы не было всё равно. Не взирая на весь материализм Серёжина. Офицер Красной Армии не страдал галлюцинациями и не верил в призраков. Но лестница всё равно исчезла... Гвардии старший лейтенант готов был поклясться, что по дороге к дому он видел в окне своей квартиры огонь свечи. Следовал вывод: его друг и сосед по квартире гвардии лейтенант Сидорчук находится дома и курит, скорей всего, сидя в кресле-качалке буржуйского происхождения. Другой вывод: Сидорчук туда каким-то образом забрался... Но лестницы не было, как ни крути. Тут гвардии старший лейтенант отметил в своём сознании, что топчется на каких-то камнях. Днём здесь находилась чистая и ровная площадка без каких бы то ни было камней, а точнее кирпичей, судя по контурам обломков.

Выбравшись из подъезда на более – менее стабильное пространство улицы, товарищ Серёжин задрал голову к светящемуся тусклым светом окну и заорал:

– Сидорчук, так перетак твою, куда лестницу дел?!

Через примерно полминуты, откуда следовало, что лейтенант дремал и не сразу среагировал на дружеский вопрос, из окна выставилась голова Сидорчука.

– А-а, здоровэньки бул, Петро! Та я ж её, скаженную, никуда не девал. Она, понимаешь, взорвалась. Лежу, сплю, вдруг как рванёт. Дверь вышибло и чуток мне не по башке. Выскакиваю со своим наганом, чую, мабудь, фрицы наступают. Бачу – лестницы нэмае.

– Так как же мне теперь к тебе подняться?

– Так я ж тебе сейчас верёвку спущу. Надьсь в чулане тутошнем знайшёл.

И пришлось гвардии старшему лейтенанту Серёжину вспоминать занятия по физподготовке – подтягиваться на руках до третьего этажа, радуясь, для успокоения души, что не на пятом они квартируют... На следующий день доложили начальству: разрушения есть, жертв нет. Квартиру пришлось поменять на менее комфортабельную, но более близко расположенную к своей части – туда, где чаще ходят патрули...

Город, который был скорее пуст, чем полон, всё же абсолютного вакуума собой не представлял. Кроме воинских частей армии советской в Штеттине располагались подразделения армии польской. Точнее, наверное, было бы сказать располагалось подразделение. На одном из домов торжественно развевался красно – белый польский флаг. Возле него стоял часовой в четырёхугольной польской «конфедератке» на голове, с русским ППШ на ремне. Форма у поляков была воинственна, красива и мужественна. Мне она даже больше нравилась, чем наша, но вызывала неприязнь: всё-таки это была не наша, красноармейская, форма. Держались поляки заносчиво, поглядывая как бы сверху вниз даже при недостатке для высокомерия такого роста...

Самый дорогой фотоснимок нашей семьи, где мы запечатлены вчетвером, сделан как раз возле польской комендатуры в Штеттине. Если бы мы отошли в сторону, то виден был бы польский флаг и солдат возле него – дом за нашими спинами – и есть комендатура...

Солнечным утром, когда свет распространяется по земле особенно празднично и ярко, наша обстрелянная в боях, сражениях и на свалках команда в прежнем составе деловито направлялась в очередной вояж за новыми впечатлениями и возможными приключениями. Маршрут был не утверждён, ноги шли туда, куда глаза глядят, глаза глядели вдоль улицы, а Симка пел. Он вообще вёл себя иногда хулиганисто и пел песни сомнительные по содержанию, но лихие по форме. На этот раз – про бандита, который следил за девушкой, шедшей купаться и совсем обнаглевшего когда она подошла к берегу реки: «Я стала раздеваться, а он мне говорит: какие у вас ляжки, какие буфера...» Что произошло дальше между бандитом и девушкой мы на этот раз не услышали потому что Васька замолчал, уставившись на что-то интересное, происходящее на дороге.

По ней мчался американский «виллис», он же «козёл». Мчался странным образом – вилял из стороны в сторону, словно за его руль держался вдребезги или в шину пьяный водитель. Когда машина поравнялась с нами, стало очевидно, что водитель держать руль прямо просто не может – внутри машины дрались три офицера. На заднем сидении без фуражки, с окровавленным лицом сидел и отчаянно бил руками наотмашь своих соседей офицер в форме советской армии. По обе стороны от него сидели и били его, в свою очередь, два человека в польских мундирах с офицерскими погонами... Видно было: наш старается вырваться и выскочить на ходу, а поляки его удерживают. Водитель, тоже в польской форме, вертел головой, глядя то вперёд на дорогу, то назад на дерущихся. Несколько раз, держа руль только одной рукой, добавлял свои тычки к ударам соотечественников. Машина металась, кренилась, как при качке на море, вихляла задом, но ехала быстро...

Мы остановились на том месте, где «виллис» поравнялся с нами. Стояли ошеломлённые. Стояли, замерев, так, будто призрак Гитлера увидели. Хотя привидение фюрера было здесь и не при чём. Со слов родителей знали: поляки – наши друзья, соратники и союзники, вместе против фашистов воевали и, нате вам, – драка в машине. Нашего офицера куда-то увозят, явно без всякого желания с его стороны, избивают в кровь... Стало не до слушания песни про гнусного бандита и не до прогулки. Повернули обратно. Ближе к дому. Рассказать бы военному патрулю – не видно, как назло... Посоветовавшись, перебрав варианты, порешили: может быть, люди не много много выпили, да и разодрались – бывает. Потом кто-то вспомнил, что давненько черешни не ели. Отправились за черешней...

Дня через два дня отец, вернувшись со службы, рассказал о непонятном исчезновении офицера. Ни на службу не явился, ни на квартире нет. Не сбежал ли к американцам... Его рассказ освежил память. Вспомнился виллис, драке в машине, кровь на лице русского офицера.

– Вот чёрт, – даже вскочил отец, бросив недокуренную самокрутку в ведро. – Так это, наверное, наш Свиридов и был! Надо пойти доложить.

Отец быстро собрался. Вернулся хмурый:

– Эх, Стасик, Стасик... Точно – наш Свиридов. Нашли его. Уже. Убитого. На свалке за городом валялся, на куче мусора. Весь израненный. Поиздевались, убили и нарочно на мусор бросили, чтобы даже мёртвого унижить... Что же ты раньше-то не рассказал? И приятели твои помалкивали.

Я виновато поник:

– Ну, пап, я же не знал, что у вас офицер пропал... Мы думали, они пьяные... А потом, мы не думали, что поляки могут наших бить – друзья же...

– Друзья... Как ведь аукнется – так и откликнется, – загадочно произнёс отец, скручивая новую «козью ногу и не спуская с неё глаз.

– Коля, ты что имеешь ввиду? Какое «ауканье»? Кому откликнется? – спросила мама, наливая в тарелки суп с клёцками – своё фирменное блюдо.

Оно было просто в изготовлении и очень вкусно. Особенно если мама обжаривала клёцки перед тем, как запустить их в бульон. Бульон же полагался мясным. Однако мяса не всегда оказывалось достаточно. На долю каждого приходилась почти символическая порция. Аппетит у меня после наших походов разгуливался очень серьёзный и я, бывало, сетовал: «Мама. Что ты мне так мало кладёшь мяса?»

– Разве? – наивно удивлялась мама. – Хорошо, сейчас добавлю.

Тарелка у меня отбиралась и через минуту – другую в ней оказывалось вместо одного – несколько кусочков мяса... Только более мелких. Но я радовался и съедал с чувством удовлетворения. Больше, правда, морального. Заподозрив неладное, я пробовал организовать ревизию: «Мам, ну всё равно мало».

– Ну как же, сынок, мало. У тебя сколько кусочков было?

– Один.

– А теперь сколько?

Я начинал шарить в тарелке ложкой, отыскивая все кусочки.

– Три.

– Вот видишь: был один, а стало три. Три больше, чем один?

– Больше... – неуверенно отвечал я, глядя на маленькие комочки мяса в супе. Не сразу разгадал мамину хитрость: она просто разрежала один кусочек на три части и создавала иллюзию увеличения количества за счёт уменьшения качества...

– Это, Муся, вопрос не простой... Помнишь, мы проезжали Брестскую крепость? По ней немцы ударили ранним утром в сорок первом. Там такие страшные бои шли... Никто из наших не уцелел. Все полегли. Но ведь эту же крепость и до сорок первого года и бомбили, и обстреливали...

– Что ты говоришь? Кто же на неё напал? Когда – в средние века?

– В наше время, дорогая моя, в наше... Я, видишь ли, мало что знаю, но и о том, что знаю, предпочитаю помалкивать... Курсанты – офицеры кое что рассказывали... В сентябре тридцать девятого года наши войска вошли в Польшу широким фронтом и начали против неё самые настоящие боевые действия. Для поляков это полной неожиданностью стало. Они к войне с Советским Союзом не то что были не готовы, а и не помышляли о ней: союзники же... Вроде как... Они с Гитлером воевали, который на них напал первого сентября. А тут ещё и русские наступать начали.

– Как же так получилось?

– Вот, «получилось»... Ты же помнишь, у нас с Германией пакт о ненападении был. Мы даже, вроде как, друзьями были. Их офицеры учились вместе с нашими в военных училищах... Мы же на Варшаву в двадцатом году наступали... Да не наступили, правда. Тогда Тухачевскому там хорошего пинка дали поляки. Сложные дела... Так вот, в тридцать девятом году Польша вынуждена была отбиваться и от Гитлера, и от Красной Армии. В основном, конечно, от Гитлера – их войска на него и были нацелены изначально... Брест в то время находился на поль-

ской территории и первыми к нему подошли войска Гудериана. Подступилиться-то подступились, а взять сходу не смогли. Гарнизон крепости командовал генерал Плисовский и как ни старался Гудериан, но поляков одолеть не смог. Тогда ему помог командир Красной армии Кривошеенко: подтянул свою тяжёлую артиллерию и двое суток долбил крепость, вроде как кувалдой по кирпичу. И раздолбил... Потом в Бресте устроили торжественный совместный парад в честь доблестной победы немецкого и советского оружия. Радость общая: немецкие и советские полки маршировали бок обок. А принимали этот парад, на трибуне стоя рядышком, генерал Гудериан и комбриг Кривошеин... Потом произошла какая-то история в Катъни с пленными польскими офицерами. По слухам, их там расстреляли несколько тысяч... А может быть, их и немцы убили... А уже при наступлении нашей армии на Варшаву странная история произошла. В городе поднялось восстание против немцев. Им командовали командиры польской Армии Крайовой. Что это за армия? Польская. Воевала против гитлеровцев... Ещё у них была одна армия: Армия Народов... Эта дралась вместе с нами и подчинялась нашему командованию. А вот Армия Крайова признавала только приказы из Лондона – там находилось другое польское командование... Понятна ситуация?

– Что-то не очень... Почему две власти?

– Ну, Муся. Элементарная, чай, политграмота: в Лондоне – капиталистическая, а в Москве – социалистическая, советская, то есть. Какую власть мы хотим иметь в Польше после победы? Конечно, ту, которая с нами заодно. А те, кто в Лондоне – ту, которая заодно с ними... Да... О чём, бишь, я... Так вот в Варшаве начались бои против немцев. А наши войска находились по другую сторону Вислы: по одну, значит, сражаются с фашистами поляки, а по другую стоят советские войска и не сражаются ни с кем, временно... Что бы, по логике, должны были бы они делать?.. Помогать своим союзникам по борьбе с фашизмом. Но наша армия не двинулась с места до тех пор, пока немцы не расправились с восставшими. А длилась их борьба два месяца... Немецкие самолёты при бомбёжке кварталов, где оборонялись поляки, разворачивались как раз над нашими позициями. И наши зенитчики им не мешали – не было такого приказа... Потом это странное поведение наших частей объяснили тем, что они пополнялись и переводили дух после боёв, но, судя по всему, поляков эти объяснения не устроили... Я бы рискнул предположить, что таким образом руками гитлеровцев наши политики избавлялись от своих политических противников... Но утверждать категорически не стану... А теперь вот видишь, что творится, дома взрывают, офицеров наших убивают... Ты, Стасик, поосторожнее на улицах будь. Лучше за пределы наших частей не выходите с ребяташками. А если увидите что-нибудь вроде того, что ты рассказал, сразу говорите ближайшим нашим военным. Польскую форму от нашей отличить можете?

– Ну, пап, спрашиваешь тоже, – обиделся я.

– Вот и молодцы. Здесь это имеет большое значение... Впрочем, ведь и переодеться могут. Они же в подполье, вроде как, сражались – опыт имеется...

Отец докурил самокрутку и долго смотрел за тёмное окно.

– А ночи здесь почему-то темнее, чем у нас... Посмотрите-ка: ночь, как тушь – темнота непроницаемая.

Сравнить Стасик ещё не мог – ночей российских не помнил. Сознание его, память и способность мыслить развивались постепенно – в походных условиях. Степени их возрастали уже на территории Польши и Германии... Впрочем, ночи коротались во сне, темноты не разглядывавая, а сны он себе снил одинаково интересные, как в России, так и вне её.

Отправился спать с невыясненными вопросами: как это так может быть, что люди, пострадавшие от одного и того же неприятеля, сражающиеся против него, чтобы не бояться за жизнь и судьбу своих близких и свою тоже, могут быть врагами друг другу? Выходит что они, победив общего своего недруга, могут начать воевать и друг с другом?.. Опять бомбить

и жечь то, что совсем недавно бомбил и жёг их враг, но только уже друг у друга... А почему люди так говорят: воюют «друг с другом»? Какие же они «друзья», если воюют между собой? Или слово друг не всегда означает дружбу? Видимо – так... Хорошо, что у нас с ребятами всё по-другому: мы – друзья настоящие. Поучились бы взрослые у нас, как правильно дружить – тогда бы и войны не было.

Совершив такой мудрый вывод, Стасик лёг в кровать и уже засыпал, как вдруг где-то вдали громыхнул взрыв. Опять что-то кто-то взорвал... Сон на какое-то время пропал. Появилась естественная мысль: а что если и в наш дом мину подложили?.. Вот как грохнет сейчас... Прислушался. Из соседней комнаты доносился мощный и спокойный папин храп. Родители спят. Значит: всё спокойно в нашем доме. В «нашем»... А что имел виду тот дяденька сержант на КПП, когда сказал, что митькин дом там, откуда Митька приехал? А мой дом где? Наверное, в Дзержинске... Сложна взрослая жизнь.

Рассказывая о причинах агрессивности поляков, Николай Александрович в то время много не знал. Мог не знать и того, о чём говорил: информации об этом не было ни в каких официальных источниках... Кроме устного. Во всех военных операциях участвуют люди. И как ни засекречивай их, но так или иначе где-нибудь кто-нибудь да расскажет о том, чего рассказывать, с точки зрения и понимания НКВД, не следовало бы. А этих «кого-нибудь» на военных курсах оказывалось предостаточно – состояли они из офицеров различных родов войск, в том числе и из политработников, а этот народ был осведомлён получше других. Но люди были осторожны: намёки, полунамёки, недомолвки... На уровне слухов. Однако уровень этот был довольно высок. Только спустя уже много лет после войны, когда Николая Александровича уже не было в живых, – после начала перестройки, стала известна часть документов, процеживающих лучики света на многие тёмные дела. Не в этом ли кроется одна из причин, заставляющая некоторых участников этих дел проклинать инициаторов перестройки?. Впрочем, есть мнение, что инициаторами были как раз компетентные органы, как никто другой хорошо осведомлённые об истинном положении экономики СССР и её внутренних настроениях среди кажущихся вполне благонадёжными гражданами.

Не знал отец Стасика о действительном отношении Сталина к Польше в 1939 году и о его стратегических планах. Не знал и о его словах, записанных Георгием Димитровым при личной беседе с вождём 7 сентября 1939 года. Речь шла о позиции Коминтерна по отношению к войне Германии против Англии, Франции и Польши. Димитров пришёл к Сталину за советом: какое же необходимо принять решение в этом вопросе? Сталин к этой войне внешне относился очень спокойно. Симпатии его были не на стороне противников Германии. Коминтерн, высказываясь о германском фашизме, как об агрессоре, был, с его точки зрения, не прав глубоко и в корне. Вождь мирового пролетариата утверждал: агрессорами являются Англия и Франция, напавшие на миролюбивую Германию. Но, впрочем, пусть себе повоюют между собой – этим они ослабят друг друга. В отношении к Польше товарищ Сталин имел более чёткую позицию: Польша – фашистское государство, угнетающее украинцев и белорусов, и она должна быть ликвидирована... Так он говорил. Какие же в действительности мысли ворочались и комбинировались в лабиринте извилин его мозга, можно только догадываться или, лучше, предполагать.

В полном соответствии с мнением и указаниями Сталина Коминтерн принял через два дня после встречи Димитрова с вождём директивы, в которых категорически утверждалось: международный пролетариат ни в коем случае не может и не должен защищать фашистскую Польшу... Её и не защищал никто, кроме самих поляков.

Во время успешных наступательных операций на территории Польши Красной Армией было взято в плен 240 000 польских военнослужащих. Для транспортировки, размещения и прокорма такой огромной массы людей не хватало ни транспорта, ни помещений, ни лаге-

рей, ни продовольствия. Как обычно, применили известный принцип: «есть человек – есть проблема; нет человека – нет проблемы». Начались массовые расстрелы поляков... А через два года после «победоносного освободительного похода» на Польшу, когда «союзная» гитлеровская армия полным ходом двигалась на Москву, на территории СССР началось формирование польской армии. Её командующим назначили генерала Андерса, успешно воевавшего против Красной Армии в 1939 году, а потом сидевшего в одной из тюрем в Советском Союзе вместе с тысячами других польских военнопленных... Сложны и непредсказуемы выкрутасы истории и участи людей.

Судьбы многих поляков, оказавшихся в советском плену, остались навсегда неизвестными. Они ещё находились в советских тюрьмах, когда немецкая армия стремительно занимала один город за другим. Вывести всех заключённых не представлялось возможным и логичным выходом из положения вполне могла представиться та же отработанная схема – расстрел. С 22 по 30 июня 1941 года войска НКВД во Львове уничтожили 8000 заключённых, 4000 – в тюрьмах бывшего Виленского края. Братские могилы находились в районах многих городов на территориях Польши и России.

Лучшие командирские кадры польской армии составляли большую часть военнопленных лагерей в Козельске, Старобельске, Осташкове: 15 000 человек. Из них кадровых офицеров – 9 000. Другие 6 000 – резервисты: врачи, учителя, юристы, профессора, священники. Весной 1940 года в Катынском лесу все они безвозвратно исчезли... (В конце 80-х годов советское правительство официально признало факт расстрела.) Вот что имела за своей спиной, войдя в Польшу теперь уже с действительно освободительной миссией, Красная Армия. Это не могло не сказаться на отношении к ней поляков.

* * *

Глядя сейчас на первоклассников, идущих в школу рука об руку с родителями, я вспоминаю наши пацаньи похождения по городам, только что освобождённым от вражеских войск. Возраст у нас был такой же, но самостоятельность – куда выше. Мы сочли бы чуть ли не за оскорбление, если бы нас куда-то повели за руку. Идти с родителями приятно во всех отношениях..., почти. Но – рядом, как и подобает мужчинам, но не «за ручку». Мы себя ощущали именно мужчинами. Молчали, когда называли нас маленькими – чего уж со взрослыми спорить, но в душе возмущались. Какие мы «маленькие»: да мы автомат разберём и соберём побыстрее многих «больших». Да мы любую гранату не только взорвём, но и разрядим. Да мы... Но нас водили в детский садик. Не за руку, но водили. Потом перестали водить: мы ходили одни, самостоятельно. Так же самостоятельно и убегали из него. Ну что там нам было делать, скажите на милость? С девчонками в «гуси – лебеди» играть? Поиграли немножко и хватит... Воспитатели не очень ретиво следили за нами – профессионалов среди них не имелось. Да что нам и профессионалы: мы и сами... пусть пока ещё и без усов, но всё же... В свою очередь и мы не слишком злоупотребляли своим умением улизнуть с территории садика, пропадавая до конца дня неведомо, для воспитательниц, где. Заранее сговорившись, наша «шайка – лейка» собиралась возле замаскированного в кустах отверстия в заборе и исчезала благополучно, оставляя наших горе – воспитателей в счастливой уверенности в том, что мы все находимся где-то рядом с ними, только за пределами видимости. Уверенность в этом подтверждалась нашим возвращением к обеду: мы оказывались тут как тут и с аппетитом поедали всё, нам предложенное... Кроме, разумеется, манной каши. Впрочем, её тоже не оставляли на тарелках.

Как нам удавалось определять время без часов? Элементарно: по времени смены караулов на постах. Мы почти всегда держали нашу воинскую часть в поле зрения и точно знали, когда меняются часовые. Пообедав, снова исчезали. Не припомню, чтобы наша компания мирно спала в «тихий час». Посмотрели бы наши воспитатели, какие это были «тихие часы»... Вот

только как нам удавалось обмануть их – этого уже не помню. А придумать – не хватает взрослой фантазии. У детей она изощрённее.

Кроме игр, чтения вслух сказок, всегда одних и тех же – книг не хватало, еды и сна развлечений в садике не было. Ещё учили наизусть стихи. Не просто для упражнения памяти. Однажды нас повели в госпиталь, где лежали раненные, ещё во время войны, солдаты. Буквально лежали. Или сидели, в лучшем случае. Тяжело раненные. Водили нас по палатам и читали мы в каждой разной одинаковые стихи – слушатели менялись.

Солдаты, все в белых бинтах, слушали внимательно и с теплотой в глазах – отвыкли на фронте от вида детских лиц. Аплодировали оглушительно. В одной из палат терпеливо лечились раненные в руки. Хлопать себя по собственным ладоням за наши грехи у многих не получалось. Нашли выход: садились рядом и шлёпали каждый по свободной от бинтов руке соседа или по своему колену.

Поначалу я робел и смущался до полного отчаяния – не мог слова сказать вообще – не только стихи прочесть или, что ещё страшнее, спеть. В моих глазах это были настоящие герои. Не в тылах где-то отсиживались, а на фронте воевали, от пуль не прятались – все ранены. И выступать перед ними надо было очень хорошо: смогу ли?.. Стихи забывались и путались от волнения. С крыши на крышу перепрыгнуть, хоть и страшно, но легче. Снаряд разрядить, патроны в костёр бросить – хоть сейчас... А вот продекламировать... Но солдаты смотрели так добродушно ласково и так подбадривали, что я вскоре читал не только те стихи, которые выучил в детском садике, но и те, которые слышал от мамы. Даже, решительно осмелев, неожиданно для себя вдруг спел несколько песен. Не детский лепет про «тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота», а настоящие фронтовые: «Землянку», «Офицерский вальс», «Солдатский вальс», «На рейде»... Аплодировали доброжелательно и охотно. Казалось даже, что и не мне вовсе. Главным образом не по причине незаурядного исполнения и выдающихся вокальных данных аплодировали, а потому, что раненные не ожидали услышать от детсадовского мальчугана любимые военные песни. После выступлений нас поощрили. Раздали по свёрнутому из бумаги пакетику конфет каждому... Пожалуй, это были чуть ли не первые конфеты, которые я ел. Во всяком случае, других до этого не помню. Ел их, наслаждаясь незнакомым вкусом, на лестничной площадке, дожидаясь товарищей, где-то задержавшихся. Рядом стояли, разговаривая, два офицера. Увидев, с каким удовольствием я что-то поедаю, один из них, капитан, спросил:

– Чем угостили, пацан?

– Конфетами, товарищ капитан, – ответил я горделиво.

– Ну, повезло тебе. Дай, будь другом, попробоваться.

Признаюсь, жадничал в душе. Но протянул пакетик внешне охотно. Очень, кстати сказать, маленький. Охотно-то охотно. Но не без сомнений: а вот как отсыплет себе это дяденька половину, а то и больше... Что-то он мне доверия не внушает... Дяденька запустил пальцы в пакет, пошелестел там пальцами и лицо его изменилось от удивления:

– Какие же это «конфеты»?

– Барбариски.

Офицер посмотрел на меня с сожалением: – Это, брат, не конфеты. Это я даже не знаю как и назвать... Витамины какие-то. Но, пусть будут конфеты... Другого же нет. Ешь, малец. Приятного аппетита тебе. Скоро и настоящих конфет попробуешь.

А это – не настоящие разве?

Дома удостоился похвалы, как медали: молодец и даже патриот. Почему? Раненых солдат порадовал, награду, какую ни наешь, получил, офицера угостил и маму не забыл.

– Вот только не конфеты это, – и вздохнула.

– И ты, мам, тоже как тот капитан в госпитале... А какие они такие – настоящие конфеты?

Мама принялась рассказывать, как могла, описывая внешний вид и вкус настоящих конфет, не доступный даже моему воображению. Всё можно себе представить на внешний вид – и не виденное никогда. Но вкус... Ну, сладкие конфеты, так и эти тоже сладкие... Мама говорила и рассказ её воспринимался чем-то вроде сказки. Слушая её, я наслаждался тем, чего теперь не найти ни за какие деньги ни в одном наисупернейшем маркете, чего не дано теперь вкусить самому изысканному гурману: сухое и твёрдое зёрнышко пшеницы, облитое розовой глазурью! Это была настоящая конфета. Вкуснее её попробовать мне не доводилось потом никогда.

Вкуснейшей оказалась и патока – чёрная смолянистая густая вязкая полу-жидкость, внешне очень похожая на дёготь. Отец принёс её в бидончике в дополнение к сахару – составляющей части офицерского пайка... Бидончик этот потом мама никак не могла отмыть дочиста, а запах патоки прилипал ко всему, что потом в этот сосуд наливалось. Для меня патока стала настоящим лакомством, так же, как и барбариски, затмившем все последующие вкусоности.

Появились они в отдалённом будущем, а пока в детском садике нас потчевали рыбьим жиром. Что это за «вкусоность» способен знать только тот, кто его пил.. Более мерзостного зловредия, считаю, в мире не существует, несмотря на его полезность. А именно в этом нас безуспешно пытались убедить родители и воспитатели. Симпатии к родителям у нас от такого рода пыток не убавлялись в силу врождённых инстинктов, а вот воспитатели теряли свой авторитет сразу же: мы не могли поверить после этого в то, что такой жестокий человек, заставляющий нас глотать такую омерзительную гадость, может быть хорошим, добрым и честным, если при этом ещё и врёт, что отвратительно воняющая гадость очень полезна для наших организмов...

И только один из нас относился к увещаниям взрослых лояльно, нарушая единый фронт сопротивления насилию. Он героически открывал свой рот задолго до того, как воспитательница с ложкой, наполненной зловонной мерзостью, приближалась к нему. Желтоватая гадость вливалась в открытый зев, губы захлопывались и рот растягивался в блаженной улыбке от уха до уха... Наверное, излишне говорить, что этим феноменом был наш окаянный Симка. Рыбий жир он любил. Даже души в нём не чаял. Совершенно неизвестно почему у него оказался такой противоестественный вкус, но оказался, и с этим ничего нельзя было поделать. Он даже не соглашался сбежать вместе с нами за пределы места нашего временного заключения, если до побега не приносили его обожаемое лакомство и оно не вливалось в него, загадочного. Зато он терпеть не мог мою любимую патоку. «Но ведь это же совершенно разные вещи», – возмущался я. «Правильно», – соглашался Сим, – «разные – жир гораздо вкуснее...» Дошло до того, что он подставлял свой извращённый рот вместо нас, если воспитательница теряла бдительность. Помочь ей в такой потере помогали мы, меняясь с Васькой рубашками для маскировки. И воспитательница попадалась или, скорее всего, ей было всё равно, чей рот перед ней. Это было утешительно, но странно, если учесть, что мы с Митькой были, хоть и не жгучие, но брюнеты, а Симка откровенно рыж.

Там, в Штеттине, вдруг обнаружился мой страх не только перед саранчой, но и перед пауками. Самая настоящая фобия. Интересно: нигде до того я их не боялся совершенно. Не любил, но и страха никакого не испытывал. Даже наоборот, вместе с местными мальчишками варварски развлекался, отрывая ноги от паучьей головы и наблюдал, как она абсолютно самостоятельно «косит», сгибаясь и разгибаясь на ровном месте. Так этих пауков и называли «косинога». Страх перед пауком появился у меня тогда, когда я увидел однажды в мощной паутине, растянутой прямо в проёме входной двери одного из подъездов соседнего дома. Там никто не жил, к подъезду этому никакого интереса не проявлял, не входил в него и не выходил. Паук устроился вольготно и сытно питался мухами и ещё чем-нибудь, достигнув очень, на мой взгляд, внушительных размеров. Во всяком случае диаметр его пуза равнялся, примерно, голу-биному яйцу. Если не больше.

Я отчётливо видел его даже с противоположной стороны улицы. Он неподвижно пребывал в самой середине своей паутины, чёрный и с чётким белым крестом на спине... Такие же кресты зловеще белели на немецких танках и бронетранспортёрах. Эти же знаки угрожали людям с крыльев фашистских бомбардировщиков. Казалось, этот паук выращен фашистами намеренно, является их символом, так же зол, коварен и опасен, как тарантул или, того хуже, фаланга. Точно такой же паук нарисован был на одном из рисунков в газете: сверху каска, а в каждой лапе либо сабля, либо пистолет, либо топор, либо граната, либо ещё какое-то оружие смертоубийства. Мне казалось, что стоит только приблизиться к нему, как он тотчас же набросится на меня, вопьётся своим ядовитым жалом и пустит в ход весь свой страшный арсенал... Никакого оружия видно у реального паука, правда, не было, но явно подразумевалось.

О страхах своих я никому не рассказывал, сам считая их постыдными. Но долго не мог ничего с собой поделаться. Только избегал даже проходить мимо зловещего подъезда, удивляя тем самым маму. Конечно, если бы я признался, то пауку немедленно пришёл бы конец. Кто-нибудь из моих близких его прихлопнул бы. Вот поэтому я и не просил о помощи. Не паука жалко было. Я копил свои силы и мужество. В один прекрасный день решил, что накопил достаточно и отправился в боевой поход. Для расправы с фашистским пауком выбрал из имеющегося арсенала самую боевую на вид и острую на ощупь саблю и крепко сжал её правой рукой, голову покрыл красноармейской со звездой каской, руку левую вооружил... мощной мухобойкой, найденной на чердаке.

В таком, устрашающем даже самого себя, боевом виде я довольно решительно приближался к пауку. Сердце гулко бухало под горлом, ноги ступали уверенно менее, чем хотелось бы, но всё же ступали. Паук, не чуя никакой опасности, восседал на своём обычном месте, кого-то со кровожадно доедая. Вот он всё ближе и ближе... Никакого оружия в лапах не видать... На самом-то деле я и не ожидал его увидеть – не маленький же... Только воображение, да память о рисунке порождали мои страхи. А всё-таки порождали. Вблизи паучище оказался ещё больше, чем представлялось издали. Подойдя на расстояние, достаточное для удара мухобойкой, я прицелился, зажмурился, размахнулся. Ударил!.. Раздался хлопок и звон разбитого стекла. О-о, так он, что ли, стеклянный, гад? Открыл глаза. Паук цел и невредим сидит в паутине. Под моими ногами – разбитый плафон электрической лампочки. Нельзя закрывать глаза, когда схватился с противником. А паук продолжал спокойно сидеть на своём месте и, наверное, презирал меня. А зря. Второй удар я нанёс саблей и опять промазал по насекомому – мала, всё – таки, мишень. Но зато перерезал часть паутины. Паук спохватился, струсил и попытался скрыться с поля боя позорным бегством. Поспешный взмах мухобойки, удар – из под резины брызнули отвратительные брызги. Победа. На останки страшилища я не стал даже смотреть – противно. Сняв боевую каску, с саблей в одной руке, мухобойкой в другой и славой в сердце свободно зашагал, почти замаршировал, проч.

Не столько победа над чудовищем согрела сердце и разум, сколько над своим страхом. Пауков с тех пор не боюсь. Но всё равно сохранилось непреодолимое отвращение к ним. Особенно к «крестовикам». Всякий раз при слове фашизм, как его олицетворение и символ, перед внутренним взором возникает белый крест на спине моего давнего противника и сам он, чёрный, угрожающий, сидящий в засаде... Очень на него похож был сказочный паучина из кинофильма «Василиса прекрасная». И если бы тот, «штеттинский», паук заговорил, то он сделал бы это таким же страшным трескучим хрипучим голосом, как и его киношный двойник – никакого сомнения в этом нет и быть не может.

Штеттин становился городом знакомым. Мы даже улицы его окрестили по своему, по-русски, хотя на домах сохранились и их номера, и названия улиц. Из немецкого языка и мои родители, и я, знали только «Гитлер капут!», «хальт!» и «хенде хох». Для общения с врагами этого словарного запаса было достаточно. Друзей же немцев, впрочем, как и не друзей, в Штет-

тине не имелось, как уже говорилось. Вспомнив латинский алфавит, отец прочёл название улицы, где стоял дом с нашей квартирой: Frieden strasse. Фриден штрассе, значит: что за фрида такая. Не звучит. Лучше – «Дзержинская улица». А соседняя, разумеется, «Нижегородская».

Здесь, в Штеттине, кроме заводов, складов, военных городков, пустых домов, пауков с крестами и взорванных подъездов и Балтийского моря поблизости имелись и водоёмы поменьше. Назывались они, как папа сказал, бассейнами. Вот прямо на площадке между домами. Аккуратное такое озеро прямоугольной формы с пологими бетонными берегами. Вдоль них, по периметру, – ровная асфальтовая дорожка. Подстриженные кустики... Война, бои гремели вокруг, дома и мир вместе с ними разваливается в клочья и низвергается в преисподнюю. А кустики вокруг бассейна ровненько подстрижены. И асфальт чист... То есть, заметно, подметён совсем недавно. Мусор на нём валялся тоже недавнего происхождения: бумаги, бутылки разбитые, тряпьё, обломки... Это уже следы нашей цивилизации, в целом общей чистоты и гармонии города, даже брошенного жителями на произвол судьбы и победителей, не нарушающих.

Отец, видевший нечто подобное в Прибалтике во время Первой мировой войны, относился к увиденному здесь относительно довольно спокойно, а вот мама смотрела на всё окружающее, как на сказку. Город имел европейское лицо. Оно было аккуратно подстрижено, побрито, причёсано, припудрено, спланировано и красиво. Это относилось не только к фасаду, но и к внутреннему содержанию. Условия личной жизни населения отличались чистотой, обширным пространством квартир и комнат, невиданной по роскоши, в понимании российских учителей с их зарплатой, обстановкой. Невозможно было по внешнему виду квартир определить профессию и род занятий их жильцов. Откровенно бедных квартир не встречалось. Разница в ценности той или иной части мебели и отделки квартир имела, конечно. Но самая «бедная» выглядела гораздо богаче советской «зажиточной».

Неповторима была ситуация в тот год, когда советские войска входили в обезлюдевшие города с распахнутыми настежь дверями брошенных квартир. Таких «экскурсий» по обозрению любых жилищ Европа не видела на всём протяжении своей истории. Россия тоже, как и её граждане, как одетые в военную форму, так и без неё. Сравнение слишком часто оказывалось не в пользу Советского Союза. Через некоторое время появились желающие воспользоваться случаем и перебраться на Запад навсегда. Границы имели только чисто символический вид, их никто не охранял. Нельзя сказать, что советские граждане бросились в бега массово, но всё равно удар по престижу страны состоялся очевидный. И вот появилась песня... Эдакий гибрид марша с танцем. Под неё и в самом деле можно было маршировать или плясать. Но – в противоположную от Запада сторону. «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна!», – вдохновенно убеждал слушателей популярнейший в те времена певец Бунчиков. Это была одной из любимейших песен мамы и, само собой разумеется, моей.

Мама отдавала должное европейской цивилизации объективно, но немедленно и обязательно находила в ней что-нибудь такое, что понравиться ей никак не могло. Красивы и удобны были окрестные леса, по которым мы прогуливались. Мама шагала по посыпанной гравием дорожке, выложенной по краям камнями, восхищалась и говорила:

– Ну, какой же это лес? Парк, а не лес. Вот у нас в России лес так лес – настоящий. Там у нас чистая природа и красота её не тронутая... Здесь и птиц не слышно и не видно... А в России соловьи в это время поют, жаворонки в небе кувыркаются...

И запевала песню:

Между небом и землёй
Песня раздаётся.
Неисходною струёй

Громче, громче льётся.
Не видать певца полей,
Что поёт так звонко
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий...

– А реки?.. Что за безобразие здесь реки!? Закованы в бетон, как ландскнехты в доспехи. Мёртвые. А нашими реками залюбуешься – такие они живые и красивые. Особенно Волга. Жигулёвские горы...

И снова песня. О Волге, а потом о Стеньке Разине, об утесе, о снаряженном стружке с Нижня Новгорода...

– Мам а мам, а почему тот добрый молодец, который призадумался, сам не прыгнет в Волгу и не утопит в ней грусть тоску свою, если уж ему так хочется? Почему он товарищей своих просит кинуть – бросить себя в Волгу-матушку? – затеребил я свою матушку в паузе между пением.

– А как ты сам думаешь, сын: почему?

– Ну, мам, я не знаю же. Потому и спрашиваю тебя. Может быть, боится сам-то... Не знаю, вобщем.

– Это проще всего сказать: не знаю. Ты многого ещё не знаешь и правильно делаешь, что вопросы задаёшь. Спрашивай побольше. Но, всё-таки, попробуй хотя бы подумать о том, чего не знаешь: вдруг и сам догадаешься. А потом можешь и спросить, чтобы проверить себя – верно ли догадался... Ну, подумал?

– Подумал, мама. Тот парень, наверное, был разбойником, как Стенька Разин, его ранили и он не мог сам броситься в реку – вот и попросил кинуть его туда.

– Что ж, Стасик, это тоже версия... Но только не правильная. Впрочем, здесь нужно просто знать, а не догадываться. Дело в том, сын, что на Руси все русские люди были православными христианами. Для них самоубийство было страшным грехом – одним из самых страшных. Жизнь, по вере христианской, дал человеку Господь Бог. Только Он и может взять её у человека. Но не сам человек вправе лишить себя её сам. Тех, кто это делал, даже не хоронили на православном кладбище возле церкви. Их закапывали где-нибудь в сторонке. И вот тот «парень», как ты говоришь, если бы прыгнул в реку сам и утонул, то стал бы самоубийцей – грешником. А если бы его утопили другие, то не было бы греха на его душе. Понятно теперь?

– Понятно... Понятно, но не понятно: ведь если бы его кинули в воду, то тогда грех был бы на его товарищах – они бы убили его, а ты сама говорила про заповедь не убивай. Как же так? И вообще своих товарищей в воде утапливать очень, по-моему, плохо и не по товарищески.

– А ведь в песне и не сказано, что они его утопили. В ней поётся только о том как грустно человеку жить на свете, когда его не любят. Так печально, что хоть в Волге топись. «Лучше в Волге мне быть утопимому, чем на свете жить не любимому!» Так что не расстраивайся – никто в песне не утонул, никто никого не утопил...

Запоминались мелодии песен и слова их, воображение создавало образы того, о чём пелось. Но только воображение: ни Волги, ни Нижнего Новгорода я не помнил. Да и помнить не мог. Уезжали мы из Нижнего холодным зимним днём, когда всё вокруг затопил сверкающий белый цвет сплошного снежного покрова. Очень хотелось увидеть и настоящий русский лес, и волжский утёс, где сидел лихой атаман, и пение жаворонка услышать над русским полем. И уже равнодушно глядел я на аккуратный, причёсанный, приглаженный, прибранный, красивый, но чужой для меня европейский ландшафт: и потому, что уже по привычке, и потому, что знал – есть и покрасивее места на земле.

Подполковник Козлов время от времени посещал штаб по делам службы и, если совпадали такие обстоятельства, как ситуация в городе, цель посещения, его настроение и моё желание, то брал с собой и меня. Скучные это заведения – штабы. Занятий там мне не находилось, ждать приходилось подолгу, созерцая перед собой только стены коридорные, да занятых делами офицеров, либо снующих туда-сюда с бумагами в руках и с куревом в зубах, либо с куревом без бумаг. Занудность неимоверная расплзалась по всему телу, словно холодная змея, сковывая движения. Соблазнов, как сейчас, в виде киосков и магазинов, где можно что-нибудь вкусенькое купить для ублажения, не имелось. Лет до девяти – десяти я не только не посещал ни одного магазина, но даже и не видел их. В том же Штеттине не могу вспомнить ничего, что бы могло ассоциироваться во мне с магазинами, хотя они там где-то, возможно, имелись. Не может ни один город без магазинов обойтись. В то время они не работали, но мы не видели даже неработающих. Мы, надо понимать, – наша доблестная компания... Впрочем, возможно, и видели, но, не имея никаких понятий о том, что представляет собой магазин, даже не догадывались о том, что, собственно, перед собой видим.

В тот раз отец меня взял с собой, чтобы показать центр города. Предстоял скорый отъезд и другого шанса увидеть знаменитый польский город могло и не быть никогда. По пути зашли в порт, постояли на берегу Балтийского моря... Огромная масса воды и желтоватый песок на берегу, довольно грязноватый. На песке искорёженная сталь непонятного назначения и накренившийся остов какого-то катера. Неподалеку – контуры каких-то сооружений... Чёрные, ржавые, огромные, со следами пожаров...

– А какой, наверное, красивый порт был, – с сожалением сказал отец, – теперь развалины. Живописно, конечно, но печально.

Порт, увиденный пусть и впервые в жизни, особого интереса во мне не пробудил: развалины как развалины – привычно. Они одинаковы везде. А вот насчёт искупаться я запросился: быть у воды, да не окунуться. Тем более, что день выдался солнечным и, на мой взгляд, вполне для купания подходящим. Однако отец взглянул на воду с сомнением.

– Знаешь, сын: не зная броду, не суйся в воду.

– Так я ж, пап, никуда не побреду вброд через море. Я вот тут искупаюсь маленько возле берега и всё... А, папа, а?..

– Нет, Стасик, я всё понимаю, но и ты у нас боец опытный и должен понимать – под водой у берега может что угодно быть: мины, осколки, проволока колючая, чёрт те что там может быть. Видишь, на песке сколько железяк разбросано – значит и под водой их не меньше, только не видно с берега... А, может быть, там и утопленники есть...

Эта жуть сразила. Соблазн купания мигом затормозился и превратился в оторопь. пляж мог быть как угодно чист или грязен – это, в конце концов, терпимо, но вот утопленники... Под водой у берега виднелась немецкая каска, а в каске могла быть и голова...

В центре Штеттина появились люди в штатском. На фоне военных они смотрелись странновато, противоестественно и даже подозрительно: кто такие, что делают среди нормальных военных людей, почему сами не в военной форме, как только и подобает быть настоящим мужчинам? Впрочем, среди подозрительных мужчин попадались и женщины. Тоже очень странные и даже смешные. На их головах громоздились огромные белые удивительные сооружения, похожие на... Ни на что не похожие. Разве что на самих себя или, пожалуй, на перевёрнутые пельменины с парусами... Ясное дело – пельменей под парусами быть не может. Но и таких головных уборов, по моей уверенности, тоже не может быть. Но они – вот – колышутся на головах, а под ними, в черных чёрных платьях, женщины. Это уж точно – немки. Дамы других национальностей ходить в таких нелепостях ни за что не станут. Придя к такому зрелому выводу, я уже собирался было крикнуть им своё пренебрежительное «фрицы, фрицы!», но немедленно был строго и твёрдо одёрнут:

– И не вздумай, Станислав. Никакие они не фрицы, сколько раз тебе говорить. Это – верующие в Бога женщины – полячки. И смеяться над ними не смей никогда. В России тоже монахини... были, – сказал он, запнувшись.

– А почему были? – мгновенно среагировал я, удивлённый тем, что перед нами шли, развевая на лёгком ветерке свои чёрные подола и тряся неведомо чем на головах, не германские женщины, а полячки.

– А потому что сплыли, да и вся недолга... Были или не были, а всё равно нужно к ним относиться вежливо. Ныне и присно и во веки веков, как в старину говаривали... Посмотри-ка, ты такого ещё тоже не видел.

Какие-то два потрёпанных мужчины в штатских штанах, заткнутых в сапоги, и в военных кителях с тёмными следами погон, остановились перед монахинями, смиренно сняли свои шляпы, поклонились и поцеловали им руки. Служительницы божьи перекрестили их, что-то пробормотали и зашагали своей дорогой, напоминая белые розы не чёрных стебельках...

Жили мы, поживали, где-то на окраине города. По тамошним, европейским, меркам. По нашим – окраину там ни что не напоминало. Чистота, асфальт, словно только что выложенный и раскатанный, современные дома. Современные даже с сегодняшней точки зрения. Нигде не видно обшарпанных и облезлых фасадов. Штукатурка на внешних стенах держится монолитно, нигде пятнами безобразными не отваливается.

Сохранилась одна вещица в нашем семейном архиве. Уникальная, скорее всего. Таких, наверное, где-нибудь может быть и имеется несколько экземпляров, ставших музейной редкостью, но вряд ли. Карта. Без указания её тиража. Называется карта «План города Штеттин». Составляли её: начальник отделения старший техник – лейтенант Антоневиц, старший редактор карт инженер-майор Булкин и начальник картфабрики, так и напечатано, подполковник Веревичев. Бросается в глаза очерёдность фамилий – не по старшинству званий, а по алфавиту. В правом углу карты говорится: составлена по немецкой карте масштаба 1: 25 000 издания 1923 – 1936 года, и английскому плану города и порта Штеттин масштаба 1: 10 000 издания 1941 года.

Если судить по перечню объектов, указанных на плане, то логично появится мысль: либо план выверен опытнейшими разведчиками, либо гитлеровцы перед войной были так же откровенны, как женщины в стриптизе: никаких секретов, вплоть до интимных. Аэродромы, включая военные, указаны точно там, где они и находятся. Армейские городки и учебные плацы... Какие-то «пороховые погреба», не со времён ли наполеоновских войн... Заводы по производству синтетического горючего – у вермахта имелись большие проблемы с настоящим. Нефтеперегонный завод – на случай, если повезёт с поставкой нефти... Кстати, Советский Союз являлся одним из самых активных поставщиков горючего для фашистской армии... Стратегические всё объекты – бомбы на здоровье бомбящих и их армий. У нас в Союзе за подобную карту, скажем, Нижнего Новгорода, в клоачную жижу превратили бы, в лучшем случае, а худший и представить не возможно.

Смотрящий на эту карту невежда в географии ни за что не мог бы заподозрить, что перед ним план польского города-порта: ни одного польского названия, начиная с самого главного. В списках улиц, естественно, Адольф штрассе и ещё одна с уточнением, чтобы не перепутали с каким-нибудь другим Адольфом, – Адольф Гитлер штрассе. Жители порта прогуливались по Герман, надо полагать – Геринг, штрассе и Гогенцоллерн штрассе. Не обошлось и без Кайзер Вильгельм штрассе. Одна из улиц названа в честь Моцарта: Моцарт штрассе, а другая обожаемого фюрером Рихарда Вагнера штрассе. Увековечена была и память Шиллера, только век этот, надо полагать, оказался меньше, чем предполагаемая тысяча лет... Есть и Дейче штрассе, то есть, немецкая улица. Имеется даже... Пельтцер штрассе. Лестно было бы подумать, что её назвали для увековечения памяти нашей популярнейшей киноартистки, но такого, разуме-

ется, не могло быть никогда. А фамилия-то, между прочим, еврейская... Тут же вспоминаются слова Германа Геринга: «Я сам определяю: кто у меня в штабе еврей, а кто нет». Вероятно, при наименовании улицы учли именно его мнение. Королевский дворец... Как он выглядит в реальности, узнать не удалось.

На карте запечатлен город-фантом. Карта – реальная. Ею пользовалось командование Красной Армии. Но города с такими названиями давно уже не существует в действительности, если не учитывать то, что карта, лежащая передо мной, тоже реальность – истории.

Попытка отыскать на этом плане «где эта улица, где этот дом», где мы жили в 1945 году, оказалась сложноватой. Отец не оставил на нём никаких отметок и пометок. Пришлось применить шерлоххолмский «дедуктивный» метод. Жили мы возле госпиталя... Их на плане два... Неподалеку от нас находились военные казармы. Нашёл такое место: в перечне пунктов так и сказано – казармы. Точка определена. Выходит, «наш» дом стоял либо на Барним штрассе, либо на Фридрих штрассе, либо на Фриден штрассе. Последняя версия наиболее вероятна – на тыльной стороне карты почему-то именно этой улицы название записано. Конечно, это теперь не имеет никакого значения – всем улицам, как и городу, наверняка вернули польские названия...

Можно себе представить, сколько сил требовалось со стороны нашей армии, чтобы взять под свой контроль такой крупный город со всем его военным, промышленным и гражданским хозяйством...

Так или иначе в городе, пока ещё носившем немецкое имя, налаживалась мирная жизнь, выяснялись отношения с Армией Крайовой, не в её пользу, подавлялись очаги сопротивления... Многие немцы, из числа мирных, после войны искренне уверяли: не знали они о происходивших в гитлеровских концлагерях ужасах. Им не верили: как же можно жить в такой небольшой, по сравнению с нашей, стране и не знать творившегося под боком кошмара. Милины людей уничтожены, превращены в пепел, и – «не знали»... Но мы тоже не знали многого... Не знал даже подполковник Козлов, преподаватель офицерских курсов, что согласно приказа Верховного Главнокомандующего от 1 августа 1944 года за номером 220169 специальные отряды НКВД, опергруппы СМЕРШ и отряды так называемой «фильтрации» разоружали подразделения польской армии, освободившие многие населённые пункты Польши от немецких войск. После чего беспомощных людей арестовывали и интернировали. Подразделения НКВД имели собственные тюрьмы и концентрационные лагеря. В них и расфасовывали всех: так называемых «фольксдойче», польских партизан и, заодно уж, немецких военнопленных. Набралось в этих лагерях и тюрьмах около 25 – 30 тысяч польских солдат и офицеров. Депортировали и украинцев, оказавшихся на территории Германии. Всех отправляли в ГУЛАГ или на принудительные работы в Донецкий угольный бассейн. С января 1945 года по август 1946-го оказались задержанными 47 000 человек. Плацдарм для установления новой власти должен был быть чист от всех не только явных врагов, но и от подозрительных и так называемых неблагонадёжных лиц, каковым могло оказаться лицо любое. Сказывалась и горячка после накала боёв с огрызающимися немецкими частями: под метёлку гребли всех, так или иначе сотрудничавших с немцами. К ним относились и те, кто отыскал в своих корнях капли немецкой крови, «фольксдойче», и те, кого немцы вынудили втиснуться в некий III национальный список – «Айнгдойче». Не менее 25 – 30 тысяч поляков из Померании и Верхней Силезии, в их числе 15 000 шахтёров, оказались сосланными в лагеря Донбасса и Западной Сибири... Шахтёров – не «классовых врагов»...

Спустя года два после нашего выхода из Польши, когда я ещё немного повзрослел и осмысленно смотрел кинофильмы, одним из моих любимых киногероев стал польский офицер Зигмунд Колосовский. Его подвиги не могли не восхитить. Особенно сцена, где он крушит

фашистов сразу из двух пистолетов, стреляя из них в противоположные стороны... В то же время помнился и окровавленный русский офицер, вырывающийся из рук поляков. Противоречие было серьёзно и наотмаш. Не понятны были причины вражды к своим освободителям со стороны тех, кто воевал совместно с нашей армией против общего врага... Фильм хоть и понравился, но сбил с толку окончательно. Отец вразумительно растолковать проблему не мог, потому что и сам не знал ситуации как следует. Объяснения его были просты, как таблица умножения: как среди хороших украинцев есть плохие бандеровцы – так и среди поляков есть нехорошие люди – предатели. Зигмунд Колосовский – хороший поляк, а тот, кто убивал наших офицеров и взрывал дома, где они квартируют, – плохой. Глотай, не жуя. Неприятное чувство неудовлетворения при воспоминаниях о тех далёких временах сохранялось до тех пор, пока в мои руки не попались документы, опубликованные в печати после начала «горбачёвской» перестройки. И я не считаю их очернительством и клеветой: кое – что видел своими глазами. Всё разъяснилось и встало на свои места. Стала понятна причина того, что поляки не пригласили представителей России на мероприятия, проводимые в честь юбилея высадки подразделений «Второго фронта» на территории Польши в 2000 году. Наши средства массовой информации дружно возмущалось этим актом официального недружелюбия, но, по чести говоря, у поляков имелись на этот счёт свои веские причины...

Курсы переводились в город Эльшталь: на территорию настоящей Германии. Мы покидали Польшу.

Глава 8

Пуля в грудь

*Олимпийская деревня без олимпийцев. Стадион. Новые приятели.
Страшная ссора. Хмельной квас. Курильщик. Разгромленная станция.
Пулемёт. Таинственный дым. Кинжалы. Бассейн в воронке.
Остался жив. Голод и людоедство. Расстрел, убийство. Игры в войну.*

С Симкой и Митькой мы расстались так, словно разошлись по домам до утра: пока, мол, ребята, завтра увидимся. «Пока» превратилось в вечность – мы больше никогда не только не увиделись, но и не услышались. Отцы моих друзей получили новые назначения и уехали в другие города.

Время равнодушно размыло в памяти отдельные чёточки и детальки лиц, но образы моих спутников и соратников оставило навсегда. Особенно любителя рыбьего жира и прыжков с крыши на крышу. Я некоторое время даже называл себя «Симкой» и пытался корчить такую же рожу, как и он, перед каким-нибудь решительным делом. Рожи и новое имя категорически не понравились родителям. Они не пожелали менять свои привычки, родившиеся вместе со мной, не признавали сюрреалистического лика своего сына и настояли на возвращение первоначального.

Олимпшес-Дорф, собственно, являлся частью городка Эльшталь, расположенного в пятнадцати километрах от города Науэн и в где-то около часа езды на машине от Потсдама. По размерам Эльшталь – с российский районный центр. По архитектуре и благоустройству же, пожалуй, мог бы потянуть и на областной – с поправкой на немецкую чистоту, чинность и аккуратность. Деревянных домов в нём не имелось совсем – только каменные. Многие улицы, тротуары и даже площади кроме асфальта, выложенные ещё и гранитными брусками кубической формы, не имели ни пыли при сухой погоде, ни луж после дождливой. Отчасти, потому, что так рационально сконструированы дороги и ливневые стоки, отчасти потому, что между брусками остаются некоторые промежутки – в них и уходит вода.

Как видно, название составляющей городка состоит из двух частей: *Olympishes* и *Dorf*. Первое переводится, как очевидно, олимпийская, а вторая – деревня. Всё вместе составляет интригующее: олимпийская деревня. По словам местных немцев, здесь жили и тренировались участники олимпийских игр, проходивших в Германии в 1936 году. В небольшом городке, то бишь в большой деревне, олимпийской, имелось несколько стадионов, четыре открытых бассейна и один крытый, очень красивый снаружи и комфортабельный изнутри... А может быть, и не очень – не с чем было сравнить: других в России не видели...

А вот где жили спортсмены – осталось загадкой. Для достойного помещения спортсменов олимпийского масштаба имелось, пожалуй, только два более или менее подходящих места. Одно, самое престижное, в обширном городке с пятиэтажным прямоугольником широкой башни и расходящимися от неё под прямым углом трёхэтажными зданиями, затянутыми в серые мундиры штукатурки, под острым черепичными крышами красно-коричневого цвета. Внутри городка отражало небо зеркало открытого бассейна, но стадион там отсутствовал. Зато имелся великолепный плац для строевой муштры и парадов. Значит, скорее всего, до весны 45-го года там находились военные казармы немецкой армии. После ввода войск Красной Армии те же корпуса казарм вынуждены были расположить в себе её подразделения.. Теперь на груди фасада, центральной башни висел большой прямоугольный холст с портретом Сталина в маршальском кителе с орденом Победы на шее, а на вершине её развевался красный

флаг. На этот раз без тёмного пятна посередине. Но это, по нынешним меркам, было единственным относительно комфортабельным местом для гостиницы во всём городке.

И если в Олимпийской деревне действительно жили участники олимпийских игр, то им, по нашему разумению, оставалось лишь следующее место – там, где теперь располагался наш военный госпиталь – роскошное здание с огромными окнами и широкой асфальтовой дорогой вокруг всего его периметра. С её помощью было очень удобно подвозить раненных и больных на машине прямо к палатам. Или спортсменов, чтобы они не расходовали свои драгоценные силы раньше времени...

Если же к будущим призёрам и чемпионам в те времена относились не с таким трепетом, как сейчас, и считали спартанское обитание более полезным для их спортивной формы, то могли поселить их в одноэтажные бараки жёлтого цвета, стоящие уютной кучкой через дорогу от казарм. Впрочем, всерьёз изучением вопроса о подлинном месте жительства спортсменов никто из нас особо не занимался и я высказываю лишь свои предположения, кстати, пытаюсь сориентировать читателя в плане городка, то бишь деревни.

Германия, как страна, выбравшая себе место на земном шаре с умеренным приморским климатом, особенно холодных зим не знала, как правило, коротая их без снега. Но в тот год зимой снег выпал, как снег на немецкую голову. Не очень обильный, но землю германскую накрыл полностью, сделав её в какой-то степени похожей на русскую. Для нас это было вполне обычным явлением, но немцы мёрзли и вылезгивали зубами: «Это русские с собой холод принесли». Температура падала довольно низко даже для России, а уж для Германии и говорить нечего. Центрального отопления в городке не имелось. В домах стояли печи для индивидуального, покрытые светлыми плитками изразцов, выходящие своими сторонами на две комнаты. Отапливались они брикетами, спрессованными из крошек чёрного угля и какого-то оранжево-красного вещества, который тоже называли углем, хотя красного угля, кажется, в природе не существует. Может быть, это был некий немецкий эрзац-уголь. Как бы то ни было, но со своими обязанностями согреть квартиры печки и уголь справлялись успешно. При условии своевременной заправкой их топливом. Не сразу, но его нашли, научились довольно удачно разжигать и с холодом справились.

В Эльштале нашей семье пришлось сменить три квартиры. Не из привередливости – менялось место службы отца. Так потом и называли, вспоминая тот или иной случай: это было на первой квартире..., нет, вроде бы на второй, впрочем, кажется в третьей... Первая квартира находилась на первом этаже двухэтажного дома, состоящего из четырёх квартир. В каждой по четыре разновеликих по площадям комнаты, ванная и туалет совмещённые, и кухня очень приличных размеров. Над нами поселился командир полка полковник Герасименко. В других квартирах – папины сослуживцы.

В первое же утро я, как бывалый боец, отправился на разведку и «рекогносцировку» окружающей местности. Рядом с домом, через дорогу, обнаружил стадион. Самый настоящий. Только без какого бы то ни было ограждения: ни забора, ни решёток, ни сеток, ни рвов. Ни, как ни странно, трибун. Сугубо тренировочное поле, судя по всему. С соблюдением всех, положенных стандартным стадионам, параметров. Беговая дорожка вокруг футбольного поля. На нём ворота и даже сетка на них в почти сохранившемся виде. Любимых «гигантских шагов» нет, но весь остальной набор спортивной недвижимости на своих местах. А вот нечто непонятное: два металлических колеса, соединённые между собой поперечными штангами. С одной стороны внутреннего диаметра две скобы, а с другой, напротив, две параллельных маленьких площадки с ремнями и пряжками на них... Кругов таких валялось на земле три. Каждый разного диаметра: поменьше, побольше и совсем большой. Что бы это могло быть?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.